

## Часть 1

### Олег

Он был так напуган, что не услышал характерного хлопанья и шуршанья за спиной, и только когда его резко рвануло вверх, едва не ломая кости, определил, что парашют все-таки не подвел. Но – странная вещь! – если последние несколько секунд Олегу казалось, что это самое важное и главное, то теперь он вовсе не обрадовался, а вместо этого подумал: «Лучше б не раскрылся... Так бы сразу – шмяк – и все...».

А теперь он падал, верней, не падал, а опускался, в самом незащищенном положении, какое только можно придумать – а именно, беспомощно болтаясь, как марионетка на веревочках, прямо в тыл врага, да еще в непосредственной к нему близости: ведь нашлась же зенитка, подстрелившая его самолет... Самолет, тоже!

Внизу слева ухнуло и вспыхнуло: «У-2» накрылся. Олег продолжал опускаться в полной темноте, в ушах свистело и резало, потому что шлем он потерял еще раньше. Темнота не позволяла видеть ровно ничего, но он и раньше знал, что падает прямо на лес, и почему-то представлял его себе как сплошные копья, нацеленные на него и готовые проткнуть насквозь. Тут в голову Олега пришла первая практическая мысль, и была она такой: «Интерес-но, каково это – приземлиться в лес, а не на ровное место? Если и не угодишь сразу в дерево, а пролетишь между ними, то парашют запутается, как пить дать... И будешь висеть, как дурак, на елке, пока немцы с собаками не придут и не снимут... А потом...». Да, немцам определенно есть, что с него взять: ну, положим, где русский аэродром – это они и сами знают, а вот где партизаны... Где партизаны – это знает Олег. И немцы знают, что он знает. Потому что, прежде чем подбить его, они сложили два плюс два: самолет, засеченный ими, – не истребитель, не штурмовик, не бомбардировщик, а этажерка - «У-2». Ее сконструировали аж пятнадцать лет назад, и это совершенно мирный самолет: он использо-вался до войны для орошения полей и перевозки незначительных грузов. Поля сейчас не актуальны, тем более, ночью, а вот грузы и медикаменты для партизан, например, – это как раз кстати. Тем более на Смоленщине, где эти партизаны заставляют порой немцев бегать ночью в кальсонах и стрелять во тьму наугад... Так подумают фрицы – и будут правы.

«Дурак я, дурак, – сказал про себя Олег. – Приказывали же Мишке... И чего я высывался... Вот и поменялся с Мишкой судьбой...».

Кстати, надо отметить, что, если бы Олег знал нынешнюю судьбу Мишки (которая, предположительно, была изначально его, Олеговой), то он предпочел бы все-таки какое-то время поболтать па дереве: как ни крути, а пока жив, останется хоть один шанс из ста. У Мишки этого шанса не оказалось. В те самые минуты, когда его друг совершал свой печальный спуск в неизвестность, он заканчивал свой первый и последний боевой вылет: потеряв ведущего, безнадежно пропавшего в ночи, он, зажмурив глаза, таранил один из восьми атаковавших «мессеров». В то время для Люфтваффе было еще – одним «мессером» больше, одним меньше, а вот для их полка, в том ночном бою потерявшего вместе с Мишкиным шестнадцать истребителей, это была страшная и невозполнимая потеря...

Ничего этого Олег не знал, но навстречу судьбе пошел, махнув на все рукой, так же, как и друг: зажмурив глаза. Раздался треск, Олег почувствовал, что его продирает сквозь колючие ветки, он закрыл для надежности лицо руками и позвал маму, а потом с ним произошло то, что он успел представить еще в воздухе: парашют зацепился за кроны деревьев, Олег повис на стропах и начал с шумом раскачиваться, как большой свихнувшийся маятник, ничего по соображая и то ударяясь о стволы, то с гуканьем врежаясь в упругие ветви. Наконец он инстинктивно ухватился за что-то рукой. Качание прекратилось, но Олег тотчас проклял себя за ошибку: хвататься следовало левой, чтобы правой вытащить нож и перерезать стропы. Он извернулся было переменить руку, но вышло еще хуже: руку переменить не удалось, его поволокло, мотнуло незащищенной головой о дерево и, не успели еще погаснуть искры, так и брызнувшие из глаз, как

наверху что-то громко хрустнуло, купол сорвался, и Олег, не успев от удара и неожиданности даже сгруппироваться, мешком полетел вниз с неизвестной высоты.

...Сейчас бы сказали, что Егорка Иванов рос вундеркиндом. Но в деревне Вырино такого слова не знали, и поэтому считали его попросту придурковатым. Шутка сказать: мало ли занятий для парня его возраста, а он торчит до петухов на сеновале с книжками – того и гляди, сожжет и сено и себя вместе с ним. Драл его отец, имея благое намерение «выбить барскую дурь», таскала за вихры мать («не сын, а наказание Господне») – а Егорка все бегал к учителю и возвращался потный и счастливый, таща под мышкой очередную связку книг с мудреными названиями...

В шестнадцать же лет повторил подвиг Ломоносова: ушел с обозом в Петербург. В Петербурге приемная комиссия Политехнического института сначала окаменела при виде патлатого парня в рубахе и лаптях с онучами, а потом на полном серьезе подала прошение на Высочайшее Имя принять его на второй курс. Строго говоря, следовало бы сразу на третий, но неудобно показалось: диво какое-то дивное. Институт Егорка закончил с медалью, увлеченно стал работать в совершенно новой отрасли науки – воздухоплавании, к началу Мировой войны получил приват-доцентуру, которой быстро лишился из-за невесты откуда взявшихся революционных настроений, к октябрю 17-го был уже «совершенный большевик», а к 21-му стал «красным профессором».

Тут Егорка – да какой там Егорка – Георгий Иванович! – женился на комсомолке Наде, носившей не снимая безобразную кожанку, но зато убежденной большевичке из интеллигентов. В 17-м году закончила она знаменитый Павловский институт и... вступила в РСДРП(б). Какие ветры занесли ее туда – того она и сама понять не могла, только вдруг почувствовала, что «Должна не просто жить, как все живут, а сделать людям что-то большое и хорошее... Очень-очень большое и очень-очень хорошее...». В ту пору подвернулся молодой, в локонах и очках, агитатор, представитель особо угнетенной нации в этой «тюрьме народов» – Надя и нашла себя. Агитатором, правда, атавистически побрезговала, а вот симпатичный красный профессор пришелся как раз впору: живя с ним, не требовалось даже особо изменять своим позорным буржуазным привычкам, а неизменная кожанка, конечно, никому не давала права усомниться в Надиной революционности.

Яблоком раздора в семье служила только престарелая Надина бабушка, которую супругам пришлось взять к себе после того, как родители Нади, предварительно прокляв младшую дочь, бежали после революции со старшими, а старуху бросили в Петербурге: и в дороге обуза, и большевики ничего ей не сделают: восемьдесят лет бабule – не в тюрьму же ее сажать.

Старуха, уже одной ногой в могиле, все никак не желала примириться с новой властью и воевала. Почтенный возраст дал ей много прав, например, выражаться такими словами, про которые в более молодом возрасте она обязана была притворяться, что вовсе их не знает:

- Сволочи твои большевики и ублюдки! – гремела Бабушка в лицо красному профессору, а он озирался на все двери и напряженно прикидывал, слышно ли в других квартирах другим красным профессорам и, еще хуже, их женам. – И сам ты прохвост и лизоблюд! Кто тебя, сукина сына, уму-разуму выучил? Государь выучил! И приват-доцентом сделал! А ты его же убийцам задницы лижешь! Помирать будешь – Господу что скажешь? Скажешь, я-де счастья народу хотел? Да ты в окно выгляни, – и костлявая рука в перстнях трагическим жестом простиралась к балкону, – выгляни и посмотри, как твой народ в очереди за ржавой селедкой стоит! И как от тифа мрет!

- Мамаша... – шепотом вставлял Георгий Иванович. – Мамаша... Это все дело временное, это все пока... И не большевики в этом виноваты, а контрреволюционеры воду мутят. Я ж вам тысячу раз объяснял, у меня мозоль на языке уже скоро будет... А как мы с контрреволюцией разделаемся – заживем, как царю вашему и не снилось... А про Бога – это вы оставьте. Молитесь на свои деревяшки – и молитесь, вам никто не мешает, у нас государство свободное...

- Не ме-ша-ет?! – вскидывалась Бабушка. – А монастыри кто разграбил, церкви разрушил - кто?!

- Я сто раз вам объяснял, – шипел, сатанея, профессор. – Их никто не грабил, у них изъяли ценности на нужды революции!

Разговоры такие происходили регулярно каждый день и в конце концов вошли в обыденный уклад семьи; прекратись они – и каждая сторона, пожалуй, почувствовала бы себя обделенной.

Скандал же серьезный и, можно сказать, грандиозный, разыгрался лишь спустя пять лет, когда Бабушка, несмотря на строжайший запрет, окрестила четырехлетнего правнучка Олежку.

Родителям, вернувшимся однажды вечером домой, показалось, что у них групповая галлюцинация. Они даже переглянулись, без слов спросив друг друга: «И ты тоже видишь?». В их прихожей стоял и, как ни в чем не бывало, надевал подаваемое домработницей пальто живой священник. Галлюцинация была такой натуральной, что супруги даже распластались по обеим сторонам коридора, чтобы пропустить ее в дверь. Потом, не сговариваясь и столкнувшись в проеме, они бросились в комнату Бабушки, впервые осмелившись войти, не постучав. Они увидели ее посреди комнаты – худую, в черном закрытом платье, с неожиданно высокой прической и камеей на груди. Нечто невыразимо торжественное сияло на Бабушкином лице, и особенно недоступным показалось выражение ее небывало ясных, почти девичьих глаз – и это совершенно не вязалось с их привычным представлением о Бабушке как о сварливом скрюченном полутрупе в вечном кресле-качалке.

Рядом с ней на полу стояла наполненная водой детская Олежкина ванночка, теплилась под образами лампада, заправленная, конечно (как механически, но безошибочно определила про себя Надя), самовольно взятым с кухни постным маслом, а между родителями и Бабушкой козленочком скакал Олежка, радостно показывая папе с мамой новенький медный крестик...

За двадцать лет жизни среди приличных людей красный профессор и выражаться научился прилично. Но в этот страшный для него миг Георгий Иванович таинственным образом утратил свое умение, превратившись в Егорку Иванова, устами которого непостижимо заговорило его родное Вырино:

- Да ты чо, старая курва?! Да ты знаешь, чо я тя щас уделаю?! - и он стал наступать на старуху, неосознанно производя все те же движения и жесты, что и любой парубок-забияка в Вырино.

Бабушка не отступила. Более того, она неизвестно как сделалась еще выше ростом, и голос ее больше не походил на обычное злое кукареканье, а зазвучал глубоко и веско:

- Не испугалась. И никогда не боялась. Ни тебя, ни их. И батюшку пригласила. Он и Олежку окрестил, и меня исповедовал. И как бы вы теперь ребенка ни воспитывали - а благодать Божья и Ангел-хранитель при нем отныне и навсегда. Господу угодно будет - и спасет. А без этого не умереть мне спокойно было. Сделала дело – пора. Живите, как знаете, – и Бабушка, круто отвернувшись, направилась к окну. Там она и простояла в течение четырех часов, пока пришедшие в себя внучка с мужем безответно орали в ее прямую спину.

- В ЧеКа! В ЧеКа! Вот куда вы сейчас отправитесь!! И давно пора расстрелять вас за контрреволюцию - все жалел по-родственному!!! – топал ногами профессор.

- Я вам больше не внучка, а вы мне - не бабушка!!! – пере-ходя на визг, надрывалась Надя.

Но Бабушка все стояла, положив спокойно руки на подоконник, и не похоже было, что она что-то слышит, понимает и уж тем более чего-то боится...

Скандал продолжался в одностороннем порядке с перерывами на короткий сон два дня, а наутро третьего Бабушка тихо умерла в своей постели. Ее нашла домработница - бледную, спокойную, царственную, уже сложившую руки, с загадочной полуулыбкой на бесцветных губах...

Бабушку быстро похоронили и забыли; жизнь пошла гладко, ровно, без запинок и треволнений, наполненная великим смыслом. Надежда уверенно шла по партийной линии,

Георгий Иванович самозабвенно отдавал себя делу авиаконструирования и преподавания, подрастал здоровый сын их Олег – и давно позабыт был смешной и незначительный эпизод с детской ванночкой. Способности унаследовав от отца, примерный пионер Олег учился на «отлично», идейный комсомолец и кандидат в члены ВКП(б) Иванов сразу обратил на себя внимание в Политехническом институте и, в июне 41-го досрочно сдал экзамены за предпоследний курс, готовился уже ехать с родителями на отдых в Кисловодск, когда...

\* \* \*

...Летное училище под Ярославлем напоминало, скорей, конвейер. Обучались на летчиков-истребителей, в основном, студенты технических вузов, и уже через три месяца (а когда враг вплотную подошел к Москве и стал серьезно душить Ленинград, то и через два) свежее испеченные младшие лейтенанты с голубыми петлицами браво отбывали в действующую армию.

Каждый – непременно будущий ас; и, хотя не гремели еще имена Покрышкина, Талалихина и Маресьева, все ясноглазые комсомольцы готовились воевать легко и красиво, а потом с тяжелой грацией героя спрыгивать с крыла навстречу десятку дружеских рук, уже готовых качать и качать, и бросать небрежно механику через плечо: «Ты подлатай там, друг...». И отнюдь не представляли себе ни восемь боевых вылетов – то есть восемь смертей – в сутки, ни десяток «фокеров», вдруг атакующих из-за безобидного облака, ни пустоты вместо сердца, когда против этих «фокеров» ты один и только краем глаза – обернуться нет секунды – видишь кувыркающийся факел в ночи – предпоследний сбитый в этом бою русский самолет, в то время как последним станет твой...

Курсантов в основном пичкали теорией, а практические занятия более походили на странную и жутковатую игру. Посредине поля было установлено десятка два ни на один тип самолета не похожих макета. Внутри сажался обучаемый, а инструктор совершал вокруг макета кенгуриные прыжки, выкрикивая: «Два «мессера» справа! Один идет в лобовую! Против солнца три «фокера!»» Сбитый с толку курсант в панике что-то дергал и куда-то тыкал и, когда ему удавалось дернуть и тыкнуть правильно раз пять кряду, он считался вполне обученным данному комплексу приемов и освобождал место для следующего из понурой очереди, звереющей на солнцепеке.

Для настоящих полетов истребитель имелся один – штопанный-перештопанный, и взлетать на нем было опасно даже с самым опытным инструктором: имелась вполне реальная возможность погибнуть в родном небе на истребителе, но не в героической схватке, а просто из-за того, что самолет решил, наконец, сломаться насовсем не на аэродроме, а прямо в воздухе. Оттого на «настоящий самолет» даже не очень рвались, предпочитая старенькие, но, как ни странно, надежные сельскохозяйственные «этажерки» «У-2». Известно было, правда, что эти неповоротливые и низкоскоростные сооружения начали с успехом использоваться в специальном женском авиаполку в качестве ночных бомбардировщиков, но это, скорей, воспринималось как легенда (легендой и остался на многие годы тот непобедимый женский полк, получивший позже за Сталинград звание Гвардейского).

- Настоящую практику пройдете в боевых условиях, – мрачно шутил один из инструкторов, которого недолюбливали, подозревая в нем вражьи пораженческие настроения.

В тех же настроениях Олег имел некоторые основания подозревать и своего нового друга Мишку и не подозревал лишь потому, что Мишка был его земляк-ленинградец, тоже из профессорских детей и тоже доброволец. Возникал вопрос: если он доброволец, то какой же пораженец – и наоборот. И все же после некоторых разговоров с Мишкой у Олега начинало нехорошо свербеть где-то «в середине», а в голове недвусмысленно, хотя и беспредметно пока, мелькал образ Особого Отдела.

- Что-то не очень нравится мне все это, Олег, – говаривал, бывало, Мишка в свободную минутку нервного сентябрьского дня, и умные, но непроницаемые его глаза становились еще более умными и непроницаемыми. – Ты сам посуди: два раза в месяц –

новый набор, два раза в месяц – новый выпуск... Нас здесь, как селедок в бочке, учат – прямо по «Онегину» – «чему-нибудь и как-нибудь». А ведь и мы с тобой через пару недель – того... Станем младшими лейтенантами и летчиками-истребителями. Ты вот мне по совести скажи – ты чувствуешь себя готовым так вот прямо сейчас – взять и «истребить» настоящий «фокер» с пулеметами и здоровым фрицем, пролетевшим всю Европу, а? Если чувствуешь – то ты просто идиот...

- Но это же не повод, чтобы... – беспокойно прервал было Олег.

- Чтобы не попытаться его истребить? Кончено, не повод, – спокойно согласился Мишка. - Да и просто повезти может – вдруг он невыспавшись будет. Только... Знаешь, по моим скромным подсчетам, из одного нашего училища с начала войны вышло около полтысячи летчиков... Так ведь училище такое не одно, их по всему тылу – десятки, будь уверен... Скажи, Олег... Куда столько летчиков?

- Куда?! Как куда?! – горячился Олег. – Страна спешно строит самолеты – не могут же они без летчиков!

- Это все так, конечно... – задумчиво тянул приятель, – Но... Сейчас-то у нас и одной десятой самолетов нет по отношению к количеству летчиков. Не-ет, друг... Тут другое что-то... Самолеты построят, конечно, но не для того же нас тут в такой спешке готовят, чтобы девять из десяти сидели потом на аэродромах и ждали, пока каждому пригонят по новому «ястребку»... Будь уверен: как приедем в полк – и в тот же день в бой, значит...

- Значит... – повторил Олег и сразу понял, что продолжать этот разговор не хочет, и именно потому, что лучше не знать, что это значит.

- А значит, – безжалостно закончил Мишка, – а значит, здесь просто готовят камикадзе – вот что это значит. Это значит, что там, – он ткнул большим пальцем вверх, – прекрасно знают, что для большинства из нас дело ограничится одним боем. Потому нас и надо так много, Олег. И потом, ты заметил, что нас учат чему угодно, но посадку показывали только раз? Да это же просто потому, что нам почти наверняка не придется садиться...

Надо было, конечно, что-то срочно ответить, опровергнуть, пристыдить. Сказать, что товарищ Сталин никогда не допустил бы такой бессмысленной бойни, что «там», конечно, лучше знают, сколько нужно самолетов и летчиков, и что нельзя так говорить, потому что это не по-комсомольски и вообще не по-человечески – подозревать в других такой ужас – но ни слова не смог вымолвить Олег, потому что внутри у него все задрожало – и вовсе не от возмущения: он просто понял, что так же задрожат и губы, надумай он что-нибудь ими произнести...

И вот, спустя две недели, уже младшими лейтенантами, уже на аэродроме авиаполка, к которому их приписали, Мишка с Олегом невзначай поменялись судьбами...

Они вдвоем пробежали по лужайке к столовой, когда до их ушей донеслась специфическая авиационная брань, соотносить которую с известными им понятиями они еще не научились. Невольно задержавшись и повернув головы, они увидели коренастого старлея, который что-то доказывал носатому капитану:

- Да не могу я его заставить, товарищ капитан, что я – совсем зверь, что ли?! Да и как он за штурвал-то сядет в таком состоянии!!

- Да не мое дело!! – грохотал капитан. – Приказано доставить, так доставьте! – и тут взгляд его упал на двух зазевавшихся младших лейтенантов. – Вон, хоть одного из этих желторотых посади – чай, не истребитель, ведущий не требуется!

- Так они же... - начал старлей, но капитан так гаркнул «Выполнять!!!», что он осекся, махнул рукой и трусцой подбежал к Мишке с Олегом.

Старлею перевалило за пятьдесят – он явно выслужился из рядовых. Олег запомнил доброе бабье лицо, блеклые хлопающие глаза, братски-неуставной голос:

- Вот что, сынки, новенькие, что ль? Ага, то-то еще не видел... Истребители? Ну, а я – Плотников, механик старший... Тут вот какое дело, ребята... У нас тут машина пришла, медикаменты в ящиках для смоленских партизан привезла. Они радировали куда надо, что раненые у них там... Так вот, у нас, как что им надо – так Петька Новоселов на «этажерке» возит. Он у нас инвалид, в финскую еще простреленный – куда ему на истребитель. А сейчас несчастье с ним, вишь, приключилось – может, съел чего... Ну, вы понимаете...

Словом, он вторые сутки с очка не слезает, зеленый, что твой огурец, а команда – в ночь, до зарезу: партизаны ждут, костры жгут... Надо сразу, чтоб за ночь обернуться, так что командир велел одного из вас отправить – лады, а? Делать там нечего, щас покажу вам на карте квадрат, три костра там увидите – и мечите ящики. У них парашюты сами раскроются – так придумано – и айда домой. Опасности никакой: Петька, вон, раз двадцать мотался – безо всяких неприятностей. Но парашютик, на случай, имеется один: дернешь тут вот – и откроется... Ну, так чего – летишь, чернявый? – и он вопросительно глянул на Мишку – может, оттого, что тот был внешностью поярче и к себе сразу привлекал внимание.

- Да не знаю, товарищ старший лейтенант... Я же истребитель, а тут – «У-2»... Но если надо... Что ж, я конечно... Это... Слушаюсь.

- Я зато знаю, какой ты истребитель, – дружески ответил ему старлей. – И на чем тебя учили – тоже. Небось, наистребляешься, еще надоест – если самого не истребят, конечно...

И дело было, казалось, совсем уж слажено по-домашнему, и вопросов никаких, а только вдруг Олег зачем-то щелкнул новенькими каблуками и выпалил:

- Разрешите мне, товарищ старший лейтенант! – выпалил – и чуть не поперхнулся, потому что вдруг сообразил, что за секунду перед тем ничего подобного ни делать, ни говорить не собирался.

Более того, он испытал ощущение, что губы его открылись совершенно помимо его желания, и слова будто произнес кто-то другой. Он так и остался навтыжку, пытаясь разобраться в своих небывалых дотоле чувствах, но добрый Плотников ничего не заметил и отечески похлопал Олега по плечу.

- А-а, сам хочешь? Добро, а то дружок твой не очень-то рвется... Ну, пойдем, что ль, карту посмотреть...

«И что меня вдруг дернуло?» – подумал все еще озадаченный Олег, но за старлеем автоматически пошел.

Пошел, потому и очнулся сейчас в странном положении, которое ему пришлось осмысливать несколько минут. Наконец, он понял, что происходит, и эта минута была страшна: кто-то несет его через ночной лес на спине, крепко ухватив за руки, а ноги волочатся по земле.

«Немец! – трепыхнулось в Олеге. – Взяли все-таки, гады...». Он не шелохнулся, опасаясь, как бы враг не догадался, что он пришел в себя и вполне готов к допросу на месте. Но, быстро поразмыслив, пришел к выводу, что на немца не похоже: вокруг не слышалось больше ничьих шагов, следовательно, тащивший его человек был один. Один немец в смоленском лесу исключался, а значит, решил Олег, его спас и волок теперь на себе свой, русский мужик. Партизан? Вот бы здорово! Быстро прокрутив все это в голове, Олег решил подать признаки жизни: он потряс головой, уткнулся в чужую шею и прогудел:

- Слышь, друг...

Человек остановился, чуть встряхнул Олега на спине, словно устраивая поудобнее вязанку дров, и ответил – ответил веселым и звонким женским голосом:

- Я тебе не друг, а подруга.

- Ой, мама... – только и смог сказать Олег.

- Мама, да не твоя, – продолжал звонкий голос. – Своих, чай, пятеро – куда мне еще шестого, бугая этакого.

Сказав это, женщина остановилась и невозмутимо свалила Олега с плеч наземь, вновь вызвав в нем обидную ассоциацию с вязанкой дров. Он больно ударился о корень и невольно вскрикнул:

- Да полегче ты!

В чуть разбавленной уже серым темноте он уловил над собой огромный, как ему показалось, силуэт женщины-богатыря.

- Ишь, заговорил, – прозвучало сверху. – А я-то думала, по дороге помрешь...

- Стукнуло меня... – нерешительно пояснил Олег.

- Видела, – кивнул головой силуэт. – Видела, что никто тебя не стучал, а сам ты, как куль с мякиной, с сосны свалился. И ты меня очень-то не жалоби, потому как я тебя там

еще ошупала: кости твои все целые. Так что посиделки эти ты кончай и подымайся, дальше сам пойдешь.

- Да не могу! – жалобно сказал Олег. – Все тело болит!

Женщина усмехнулась:

- Да? А куда ж ты денешься? Сидеть тут будешь и фрицев ждать?

Она вдруг резко нагнулась, довольно бесцеремонно ухватила его правой рукой за шиворот и легко, совсем без напряжения, поставила на ноги.

- Ой, больно! – почти что взвизгнул Олег, ощутив вдруг ломящую боль в обеих стопах. – Ноги отбил!

Но, к радости своей, он уловил в женщине, которая и теперь была на голову выше его, некое колебание. Она смягчилась:

- Отбил, говоришь?.. Ну, может и так. Нести-то я тебя все равно больше не понесу, а обхвати-ка меня за шею. И пошевеливайся, а то сюда-то немцы еще дойти могут.

Олег так обрадовался, что даже начал заикаться:

- А т-туда... к-куда мы идем... Туда дойти – не могут?

Она пожала плечами:

- Сами – нет. Да если б и могли – ни за что б не сунулись. Им здесь под каждым кустом партизан чудится.

- А если – не сами?

Они уже снова тащились по лесу, Олег ковылял, всей тяжестью навалившись на женщину, она молчала, и он подумал, что не получит ответа, когда до него донеслось:

- Ну, навряд ли такая сволочь найдется... Кстати, Марфой меня зовут...

Вот тут Марфа ошиблась – сволочь уже нашлась. Но женщина-богатырь об этом не подозревала и не думала, потому что, по широте сердца своего, совсем позабыла про один давнишний эпизод.

Случилось это пять лет назад, когда пришла лесничиха из своего леса в деревню за солью, спичками и керосином. К тому времени все уж знали, что печально складывается ее жизнь с лесником-пьяницей, да и мать Марфина сокрушалась по всем подружкам, что отказала ее дочь трактористу Кольке, первому в колхозе красавцу и балагуру, а пошла за угрюмого цыганистого лесника Ивана. Не послушалась-де матери – вот теперь и мается. И надо ж было так случиться, что нагнал ее тот самый Колька у околицы – да и начал попрекать едко, таких гадостей наговорив, что не сдержалась Марфа, развернулась – да и врезала хаму по оптике. Так шарахнула, что и сама испугалась: кулем повалился Колька, кровью облившись. Она было к нему бросилась, но он уж прокинулся, кровь сплюнул и процедил с нечеловеческой какой-то злобой:

- Ничего, Марфа, ничего... Мне с тобой, само собой, не драться: враз положишь... Только час мой еще придет, Марфуша... Тогда-то кровушка моя тебе и отольется...

За все пять лет ни разу и не подумала серьезно о той угрозе Марфа, да еще не раз, побитого вспоминая, жалела, и представить себе не могла, что как раз сейчас, когда она волочёт к себе в дом непутевого летчика, Колька, не взятый в армию по здоровью, ведет к ней через лес два взвода фрицев с автоматами и серыми обученными овчарками...

...По дороге Олег получил еще одно подтверждение своей чрезвычайной везучести. По словам Марфы выходило, что тот Петька Новоселов, которого заклинило на очке, и вместо кого он, Олег, плелся теперь на отбитых ногах, повиснув на шее у незнакомой женщины по страшному лесу, «летал раз двадцать без неприятностей» лишь потому, что в этой деревне у немцев не было зенитной установки. Самолетик же, регулярно пролетавший над кишашим партизанами лесом туда и обратно, давно намозолил немцам глаза, и, в конце концов, стал так их раздражать, что зенитка была у начальства выпрошена и доставлена как раз на днях – видать, специально для него, Олега. Имелся простой расчет: самолет подбить, спрыгнувшего летчика подобрать, допросить и повесить, после чего накрыть «партизанское гнездо» внезапно. Предполагалось, что летчик упадет близко к опушке леса, где собаки его вынюхают без труда. Марфа же немцев опередила, и они, несомненно, бросились бы сразу искать на всякий случай ее

избушку – не бойся они так углубляться в лес или знай точно, где эта избушка... А кто им покажет?

Когда они доковыляли, наконец, до скособоченного бревенчатого домика на лужайке, Олег уже успел смириться с мыслью, что мечту стать великим авиатором вроде Чкалова придется сменить на другую, не менее героическую – с честью партизанить в смоленских лесах.

- А может, мне – того... Через линию фронта? К своим добраться, в полк? Воевать легчиком, как положено, а? – спросил он совета у Марфы. – Или это невозможно совсем?

- Все возможно в этом мире, – неожиданно философски ответила она. – Это я про линию фронта. Перейти-то – перейдешь, а там – до первой стенки.

- Ты чего мелешь? – возмутился Олег. – До какой стенки? Я в форме, и документы при мне. Всё проверят, конечно, но я же ни в чем не виноват. Разберутся – на то они и Особый Отдел.

Они стояли у низенькой двери, Марфа спокойно сняла его руку со своей шеи. Светало всюю, поэтому Олег ясно мог различить, как, глядя ему в глаза, она чуть помотала головой и прищелкнула языком, словно говоря: «Ну, ты даешь, парень!».

- А что такого? – удивился Олег на эту предполагаемую фразу.

Марфа тяжело вздохнула с таким видом, с каким говорят «О, Господи!» и просто ответила:

- А то. А то, что ты представь, дурачина, себя на месте любого вашего особиста. К нему вдруг является офицер с оккупированной территории. С документами, живой, здоровый. И докладывает: меня-де над Смоленщиной подбили, но в плен не взяли, меня тетка Марфа спасла и к линии фронта вывела. И возвращайте-ка меня в мой родной авиаполк. Так тебе, дураку, и поверили. Потому что быть сбитым и не попасть в плен – это большим везунчиком надо быть. И ты бы попал, не окажись я поблизости. Я-то была уверена, про зенитку ту узнав, что тебя на обратном пути подстрелят. Но доказать, что ты в плен не попадал, ты не сможешь: слишком уж обратным пахнет. Ну и – сам понимаешь – по закону военного времени... – не договорив, Марфа отворила взвизгнувшую дверь и шагнула внутрь. Не вполне убежденный, но уже колеблющийся Олег подался следом.

В нос ему ударил кислый запах крестьянской избы – и не сказать, что это было очень приятно поначалу. Из темноты донеслось:

- А ты и вправду везунчик, Олег. Молитвенник, видать, сильный у тебя где-то. Кто молится-то, мать, небось?

Часть этих слов Олег просто не понял. По его мнению, молитвенник – это была такая книжка, с которой (это он прочел в одном французском романе) ходили где-то во Франции в церковь, причем, очень давно. («Маман потеряла по дороге из церкви свой молитвенник, она думает, что его у нее украли».) В молитвеннике должны быть, конечно, молитвы, но как он может быть сильным? А уж словосочетание «молится-то мать» и вовсе вызвало в нем внутренний смешок: не могло быть ничего смешней, чем мгновенное видение его мамы в черном платочке и со свечкой в руке. И вообще, таких слов он никогда ни от кого не слышал и меньше всего мог предполагать их услышать от женщины, которая только что самоотверженно волокла его на себе несколько километров – сначала на спине, а потом на шее. То есть, помогала советскому летчику. Но еще с младших классов школы Олег твердо усвоил, что люди, верящие во всякую «поповщину» – это люди ненадежные. Это, можно сказать, не наши люди. И люди эти не могут любить советскую власть, объявившую беспощадную войну всяческому мракобесию. А, следовательно – эти люди враги, и помогать должны уж никак не советским командирам, а врагам, желающим скорого конца советской власти, то есть, в настоящее время – немцам. И ни в коем случае комсомольцу ничего хорошего от таких людей ждать не приходится. Но факт был налицо: Марфа его спасла. Поэтому, логически рассудил Олег, она никак не может оказаться верующей: может, так сболтнула, а может, что другое в виду имела, а он недопонял. Рассудив так, Олег успокоился и промычал нечто вроде «М-да-м-н» меж тем, как Марфа копошилась, зажигая лучину.

Но, когда слабый огонек, покапризничав, начал все-таки давать какое-то смутное освещение, первым, что он осветил, оказалась большая серебряная икона, изображавшая Деву с Младенцем. Рядом на полке Олег увидел такую же, только на ней было одно лицо. Здесь же помещалось еще несколько маленьких, темных – их Олег уже не разглядывал, он, разинув рот, обернулся на Марфу. И увидел нечто еще более необыкновенное: глядя на иконы, та перекрестилась несколько раз. Он успел еще заметить, что женщина молодая, и это повергло его в совсем уж полное недоумение: он считал, что такой-то крендель может еще выписать лишь сморщенная старушка – понятно, у них мозги уже известкой покрылись, агитируй-не агитируй – ничего не понимают, уперлись, как бараны. Был уверен до сей минуты Олег, что последний остаток религии умрет вместе с последней старушенцией, а вот, выходила совершенно невозможная вещь: при нем, ничуть не скрываясь, крестилась женщина лет тридцати.

«А, – вдруг догадался Олег. – Это ж я по городу сужу, а она-то – деревенская. Не успели их доагитировать, не разъяснили толком. А то она давно бы эту чушь оставила». Подумав об этом, Олег вторично успокоился, решив мимоходом, как отдохнет (сейчас-то сил нет) растолковать ей кое-что по-комсомольски, научные доказательства привести, если на то пошло...

Тем временем в избе что-то заворочалось, и Марфа, быстро повернувшись к болевшей в темноте русской печи, стала шарить там руками и бормотать. Выпрямилась и шепотом пояснила Олегу:

- Ишь, заснул опять. Он у меня самый шептун, Васька-то.

- И много их у тебя там? – любопытствовал Олег, решив с места в карьер с пережитками прошлого не бороться, а войти сначала в доверие.

- Пятеро. Старшей – восемь, младшему – два. Ваське – тому четыре. Ничего, помещаются пока!

- А муж?

- А что муж? Где все мужья, там и мой. Да ты садись, гость, чай! – Марфа толкнула Олега на невидимую лавку и сама со вздохом «Ох, утомилась нынче!» опустилась рядом.

Лучина разгорелась вовсю, и теперь Олег впервые получил возможность разглядеть спую спасительницу. Широким жестом она скинула долой уродовавший ее темный толстый платок; повела плечами – и упал с них засаленный ватник. Перед Олегом оказалась красивая мощная женщина лет около тридцати, с крупными чертами типично русского лица, и можно было даже сказать, что она красавица, если б не довольно безобразный шрам, спускавшийся из-под волос до уха, загибаясь серпом на щеку. Было ясно что никакие хирургические инструменты не касались раны, и она зажила сама собой, грубо стянув кожу.

- Лошадь лягнула, – спокойно объяснила Марфа, перехватив смущенный взгляд Олега. – Давно, уж года три тому...

Олег вспомнил, что за своими страхами и удивлениями так ни разу и не поблагодарил Марфу. Ему стало неудобно – еще подумает, что он невежа какой. Благодарить вообще всегда очень трудно, особенно если это не тривиальное «спасибо» за билет в трамвае, а ты действительно по гроб жизни обязан человеку. Олег сбивчиво пробормотал:

- Я вот что, Марфа... Я тебе очень благодарен за все это... Если б не ты – попался бы фрицам, и конченное мое дело... Так что спасибо тебе... Тем более спасибо, что через убеждения свои переступила, – вышло еще хуже, чем он предполагал, а уж последнюю фразу – Олег сразу это почувствовал – добавлять и вовсе не следовало: она получилась совсем уж дурацкой.

И верно, Марфа насторожилась:

- Убеждения? Через какие такие убеждения?

Олег одновременно и смутился еще больше и вдохновился. Смутился тем, что нужно было выкручиваться, а вдохновился, потому что показалось ему, будто пришел удобный случай поговорить о том, что явно здесь мешало: о поповщине этой глупой.

Он, как сумел, придал голосу твердость, мимоходом подумав, что, может, враз со всем этим и покончит. Ему еще пришло в голову, что она не то чтобы верующая, а просто

по привычке исполняет все, чему в детстве научили. Может, и нет у нее никаких убеждений, а вот сейчас он разъяснит ей по-товарищески, что время глупостей прошло – она и перестанет. Кроме того, он человек культурный, грамотный, одних политинформаций сколько провел, а она что знает?

- Ну, Марфа, насчет убеждений – это я погорячился. Не может у тебя быть никаких вражеских убеждений, иначе ты бы меня не к детям своим в дом привела, а прямоком к немцам...

Марфа взглянула на Олега изумленно:

- Конечно, нет у меня никаких вражеских убеждений. Как ты и подумать такое мог? Да и вообще, о чем ты говоришь так странно – не понять мне.

Олег залился краской и решил уже плюнуть на всю свою агитацию – лишь бы вывернуться из глупейшего положения: вот ведь, обидел ни за что советского человека, спасшего ему жизнь, вдобавок, в сочувствии к врагу в глаза заподозрил – выходит, он уж совсем неблагодарной скотиной ей сейчас кажется!

- Ты не так поняла, – уставясь в пол, забубнил он. – Пока по лесу тащились – я ничего такого не думал... Я и сейчас не думаю... Только вот странным мне показалось... Эти иконы у тебя... Бабкины, что ли? Тогда чего ты крестишься-то на них – сама-то ты не бабка. Понимать должна. В школе советской училась, наверное, – объясняли же тебе...

- В школе? Нет. Я не училась в школе, когда Советы пришли. Мне восемь лет тогда уж было, а грамоте и счету меня и других ребятишек учитель местный еще раньше выучил...

- Но агитаторы-то потом были у вас?! – вскричал Олег. – Нельзя же, чтоб дремучесть такая!

Марфа тихо усмехнулась:

- Были, были и агитаторы. Их поначалу только слушали – а как церковь спалили, а батюшку с попадьей и поповнами собаками до смерти затравили – так все враз и поняли, что почем... Да я-то что? Я тут в лесу уж десять лет без малого. Нешто вера моя мешает кому?

«Собаками попа травить, конечно, не надо было, – быстро подумал Олег. – Да еще с семьей, да у всех на виду. Неграмотно сработали ребята – только озлобили против себя население. Увезли бы их, да шлепнули где-нибудь по-тихому, а местным бы сказали: сбежал, дескать, поп. Конечно, поагитируй потом, когда такое зверство...».

Он ответил:

- Хм... Это неправильные какие-то были агитаторы... Ну, а что касается того, что вера твоя не мешает никому в лесу – так это точно. Только дети у тебя растут – ты подумай, как они жить будут, когда из леса выйдут! Такой-то дурью напичканные!

- Чтоб им из лесу выйти и жить дальше – сначала немца прогнать надо, а там видно будет, – невозмутимо напомнила Марфа. – Да, а ты про убеждения мои какие-то толковал – никак не пойму, вера-то тут причем?

Олег и сам чувствовал, что разговор этот глупый, завел он его напрасно, зато оба они устали, да еще, того и гляди, дети проснутся и отдохнуть не дадут. Пыл его как-то поулег – что ему, в конце концов, за дело до этой темной бабы: все само как-нибудь устроится. Права она. Лишь бы война поскорей кончалась, а там просвещение и до нее доберется. Но, чтоб совсем уж дураком не показаться, да еще, чтоб она не подумала, что сказать ему нечего, а идейность его – дутая, проговорил с неохотой:

- Да чего там... Ладно. Но странные у тебя убеждения: в Бога, вроде, веришь, а советским помогаешь. Ваши же все наоборот: немец для них – первый освободитель. Но ты, видно, не такая. Значит, не потерянный человек для общества.

Думал Олег, что тем разговор их и окончится. Но Марфа вдруг резко от него отшатнулась, а потом медленно встала, загородив собой свет. Громадная тень ее угрожающе нависла над Олегом...

«Мать честная, прибьет, никак, сейчас!» – испугался он не на шутку и чуть было не закрылся локтем, но в последний момент передумал: несолидно. Он – боевой командир, она – всего лишь глупая баба.

- Да ты что... – дрожащим голосом, словно задыхаясь, произнесла Марфа, и даже в груди у нее что-то возмущенно клокотнуло: – Да ты что порешь-то! Креста на тебе нет! Где ты видел русского человека верующего – чтоб немцам радовался?! Да под гадом таким земля бы тотчас треснула – не снесла бы! Ты сам думай, что говоришь – не газеты одни читай... Я-то к тебе, как к человеку... А ты – агитацию в доме у меня разводить... До чего договорился! Убеждения чужие просчитывает! Странно ему, что помогла, немцам не бросила! А сам ты, случись тебе беспомощного кого увидеть, перед тем, как помочь ему, раздумывать бы стал – наш человек, или, может, мысли у него не такие?!

- Ну конечно, стал бы, – не размышляя, ответил Олег. – Потому что, если враг – так врага уничтожить, а не помогать ему надо.

- Да когда он на земле под деревом валяется, как ты давеча – то какие тут раздумья! – вскричала Марфа, и на печи кто-то сонно заворочался; она сразу понизила голос и вновь села рядом с Олегом.

Тот несказанно этому обрадовался, сообразив, что на этот раз бить не будут.

- Ты то пойми, – шепотом продолжала Марфа, – что если человека убить, то все надежды на этом кончаются. А если жив будет, то враг там, или не враг – а, может, войдет еще в разум... Не о немцах я это, не пугайся. Это я про нас, русских, говорю. Смотри – прут фрицы, не спрашивают «убеждений» наших – тех и других стреляют и вешают. А мы вдобавок между собой разбираемся – не враги ли еще и друг другу! Вот и ты. Прости уж, парень, что напоминаю – но старше я; так вот – попался б немцам, про партизан бы все сразу выложил – и болтался бы сейчас на виселице... Она там давно стоит, и всегда на ней висит кто-нибудь...

Озноб продрал Олега при этих словах – «про партизан бы все сразу выложил». «Врет, стерва!» – подумал было он, но тут остро вспомнил, как скулил в лесу, говоря, что «все тело болит»; как потом на отбитых пятках, на шее у Марфы повиснув, плелся и все охал; как раньше еще, когда только захлопала зенитка, и он увидел, что попали, руки его так тряслись, что он еле парашют напялил; и, вспомнив все это, ужаснулся и понял: выложил бы. Еще б до того выложил, как избили – из одного страха, что сейчас начнут... Потому что на самом деле товарища Сталина, Коммунистической партии, великих идеалов – всего этого совершенно недостаточно, чтобы устоять. Это все как-то мельчает и бледнеет перед возможными мучениями его ненадежного тела и еще более – перед тем абсолютным «ничто», которое наступит после того, как тело отмучается... И посмертный позор, как и посмертная слава, не остановили бы его – что ему будет до того в том «ничто»... И как только до Олега все это дошло с хрустальной ясностью, слепая ярость, направленная на Марфу, мутной волной вскипела в нем – за то, что она его раскусила, да еще и посмела об этом сказать.

- Да ты спятила, гадина!!! – заорал он, нисколько не заботясь о спящих детях. – Как это я выложу?!! Да режь они меня на куски – ничего не скажу!!! Это ты бы все выложила, провокаторша! По себе других не меряй! У меня идеи есть, товарищ Сталин, партия есть! А у тебя что, кроме деревяшек?!! Это тебе не за что погибать, а обо мне не беспокойся! И язык свой поганый прикуси! Нет здесь НКВД, я во власти твоей – вот и пользуешься... Ничего, я тебе покажу, кто тут Советская власть! – войдя в раж, Олег начал лапать кобуру.

Дети на печи проснулись и захныкали, но он уже неспособен был остановиться. Марфа не обратила на это никакого внимания, а сказала преспокойно:

- Да не ищи ты свой пистолет – у меня он давно. К партизанам придем – отдам. Правильно я сделала, что забрала: дите ты совсем – ну куда тебе такие игрушки...

Возмущение Олега перехлестнуло через край – он только воздух ртом хватал.

- А меня ты все-таки дослушай, – невозмутимо продолжала Марфа. – Вот ты – выложил бы и висел – да, и не пялся на меня, знаешь, что права, оттого и орешь так. И всё. Что дальше с тобой было бы – и подумать страшно, а так... А так, может, одумаешься еще, жизнь-то не кончена. И поймешь, что если Бога у человека нет, то ничто не помешает ему предателем стать – ни Ленин, ни Сталин, ни партия... А вот в Бога уверуешь – тогда...

- Кто... уверует? Я... уверую?! – обалдел Олег. – Ненормальная ты дура, вот кто ты! Чтобы я...

- Мамка, а, мамка... Собаки в лесу лают... – вдруг раздался с печки сиплый со сна детский голосишко.

Секунду после этого в избе было тихо. Но неизвестным образом секунда эта растянулась в сознании Олега на долгие часы ужаса. Запал его вмиг угас, он механически огляделся. Сквозь крошечное окошко пробивался несмелый утренний свет, и все предметы, очертания которых появились в нем, стали открыто враждебными и ужасными в своей неподвижности. Белый силуэт печи, хромой грубый стол, лавки, веревки с бельем, какая-то утварь – все это обрело в глазах Олега жуткое угрожающее движение, как в кошмарном сне, получило невыносимую и страшную значимость, и на Олега навалилось тягостное ощущение, что разгадай он прямо сейчас, что же это такое – и все сразу станет на привычное место, расколдуется – ах, если б не этот страх! И еще многое мелькнуло – что все напрасно: и парашют, и Марфа, и отбитые ноги, и сам этот дом, и никакого партизанства, оказывается, не будет, а будет как раз то, что сказала Марфа: выложит и повиснет, а она... И ее он успел разглядеть и оценить в эту секунду. И убедиться, что хотя и нет у ее сердца комсомольского билета, а есть только пятеро детей, но все равно она не скажет немцам, где партизаны... А он скажет... Секунда прошла.

- Показалось Таньке со сна, – прошептала Марфа, и тут они оба услышали.

Лай звучал еще издалека – в утреннем лесу на километры разносятся звуки, но было ясно, что это действительно овчарки, и не одна, а полтора десятка, и идут они сюда. В панике Олег схватил Марфу за руку.

- Бежим!!! – ничего не соображая, выпалил он.

Марфа выдернула руку, глаза ее расширились, голос стал неузнаваем:

- Поздно. Не уйдем.

- Что?! – взревел Олег, но тут вспомнил: – Ах, да, дети... – его колотило, как в приступе горячки, он никак не мог собраться с мыслями. – Да... да... дети... дети...

- Ни с дитяи, ни без них не уйдем: там собаки, от дома враз вынюхают, – тем же страшным голосом отозвалась Марфа.

Несмотря на всю свою былую враждебность к ней, Олег уже привык видеть в Марфе несокрушимую опору, и вдруг опора эта вылетела у него из под ног, ибо Марфа с изменившимся лицом, опустив руки, стояла посреди избы. Дети на печи примолкли, и Олег почувствовал себя вопиюще одиноким и беспомощным. Но произошла странная вещь: как только он понял, что в один миг лишился защиты, так в нем откуда-то взялись силы. Он глубоко вздохнул и зажмурил глаза.

- Не терять головы... Главное – не терять головы... – прошептал он для бодрости и шагнул к Марфе. – Говори быстро, где тут твои партизаны. Или нет, лучше не говори – хватай детей: младших понесем, старшие сами пойдут... Да скорей ты!

У Марфы ожили только глаза – словно она что-то прикидывала. Прошла еще одна бесконечная секунда. Лай слышался ближе. Марфа заговорила, и слова ее звучали, как отрывистые команды:

- За болотом, восемь километров. С детьми не успеем, у болота догонят. И еще – будут знать, где партизаны. Всем нельзя – беги один. Завернешь за избу – иди все прямо. Увидишь болото – ищи глазами три валуна напротив. Сам стань у двойной березы, от нее цель на крайний камень справа. Пройдешь – там тропа. На том берегу опять все прямо – их дозор сам тебя отыщет. Все понял? Повторять некогда, иди сразу. Прощай. С Богом.

Даже в эти неправдоподобные минуты слова «с Богом» покоробили Олега, но размышлять над ними не было времени. Окрыленный, он метнулся было к двери, но вдруг застыл, ясно услышав громко сказанное кем-то слово «стой». Думая, что это Марфа, он обернулся, и взгляд его упал как раз на икону, блеснувшую из темноты. Нелепая мысль возникла у Олега – ему почудилось, будто голос шел от нее: Марфа оказалась совсем в другом месте. Эта мысль только мелькнула, зато на ее место пришла другая, совсем простая: «А Марфа?» – и Олег сам удивился, как он раньше этого не подумал.

- А ты? – вслух сказал он. – А дети? – и увидел, что Марфа плачет.

- Как Бог даст, – сдавленно ответила она, и все возмутилось в Олеге.

Он понял, что чуть не произошло – и волосы у него встали дыбом.

Мало того, что эта женщина спасла его. Она сейчас, только что, пожертвовала собой и своими пятерыми ребятишками ради него, который хамил ей всю ночь напролет и только что, вовсе не думая о судьбе ее и детей, как травимое животное, бросился бежать, кинув ее на произвол судьбы. Немцы сразу раскусят, что он был здесь: обученные собаки помчатся по следу вдогонку. И она с детьми примет страшную смерть за то, чтобы он мог прийти до партизан и жить дальше. Жить? Зная это – жить дальше?

- Марфа, я не пойду без вас, – быстро сказал Олег, и ему показалось, что подобное уже было... Да, точно, там, на аэродроме, когда так же неожиданно он выкрикнул: «Разрешите мне, товарищ старший лейтенант!».

Олег думал, что Марфа начнет его уговаривать, но она живо подошла к нему, глянула остро:

- Вот и ладно. Иначе жизнь свою... Проклял бы ты ее тогда...

Лай доносился уже с довольно близкого расстояния.

- Собаки, мамка, собаки, – пискнул кто-то с печи.

- Лежите тихо, – бросила Марфа через плечо.

- Что же нам теперь делать? – спросил Олег, удивившись мимолетно спокойствию своего голоса.

- А мы уже ничего не можем сделать, – так же спокойно ответила Марфа. – Мы можем только молиться.

Целая буря чувств взвилась в душе Олега. Здесь был и протест, и сомнение, и негодование, но фраза «ничего не можем сделать» не испугала, а смутила его: ведь за ней следовало продолжение, и в этом никак нельзя было разобраться. Для него, Олега, за такой фразой всегда шла несомненная точка, а для Марфы – нет. Но сейчас их судьбы настолько слились, что выходило – раз для нее после «ничего» есть еще «нечто», то это «нечто» он обязан разделить с ней тоже.

Ему было совершенно ясно, что оба они обречены – но сердце, встрепенувшись, подсказало иное. И, вместо того, чтобы крикнуть: «Сама молись, а я буду петь «Интернационал»!» (он где-то читал, что кто-то так крикнул) он пролепетал беспомощно:

- Н.. не умею...

- Не беда, – Марфа метнулась к полке с иконами и, не успев Олег опомниться, как уже неловко держал в руках одну из двух больших; вторую взяла Марфа.

-левой держи... Крепче... вот так... – наставляла она скороговоркой. – Креститься умеешь? Дай руку... Три пальца сюда... На меня смотри. Так делай. Развернись к двери...

Теперь они стояли плечом к плечу лицом ко входу, каждый держа в руках по иконе. Собачий лай заполнял все вокруг, казалось, ничего, кроме этого лая уже не осталось в мире, но вдруг справа от Олега раздался чистый и ясный голос Марфы:

- Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его...

- Да воскреснет... – содрогаясь от вновь нахлынувшего страха, повторял за ней Олег, – и расточатся...

Ровно ничего не понимал он из того, что говорит, не раздумывал над тем, зачем он это делает и лезет ли это в какие-то рамки, верней, чувствовал, что сам он вылез из давивших рамок и теперь ни за что не отвечает, знает только, что совершаемое – безусловно необходимо.

Лай, топот, громкая немецкая речь и поганый заискивающий русский голос («Я же говорил вам, господин офицер») – смешавшись, все это возникло на лужайке перед домом.

В этот миг в самом потаенном уголке подвала памяти Олега словно открылась неведомая доселе дверь, и оттуда хлынул яркий свет. В свете он ясно увидел комнату, кресло-качалку, а в нем – худую старуху, укутанную пледом. Старуха мелко крестилась, глядя вверх, где было еще светлей, и бормотала...

- Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!!! – громко выкрикнул Олег, и все вокруг расколдовалось: он не слышал более ни лая, ни голосов, только видел рядом Марфу, шепчущую те же слова и, вопреки всему, знал, что вот теперь – хорошо, вот теперь – понятно, и ничего больше не надо...

## Валерия

- А ну-ка, актриска, подбери ноги!

Лёра стиснула зубы. В самый раз бы сейчас ледяным тоном ответить: «В русском языке такого слова нет. Есть «актриса» или, в крайнем случае, «артистка». Поэтому попрошу вас выражаться правильно».

Но ущемленное положение не позволяло этого сделать: обиженный Толик, и так все время злобно на нее косившийся, мог бы запросто вскипеть и попросить ее выметаться – да какое выметаться! – просто вышвырнуть ее из машины. И ей пришлось бы унижаться, извиняясь и умоляя взять ее обратно. А унижений с Толиком этим Лёре на сегодня уже хватило: и вспоминать противно, как хам ломался, а она все просила и, когда уж в третий раз, вроде бы, договаривались, вдруг с откровенной наглостью взглядывал на Лёру в упор и непередаваемо цинично ухмылялся:

- Н-не... Вот еще полтинник накинешь – и возьму. А так не возьму, не-е – нипочем...

Полтинников в результате вышло три, и перспектива расстаться с четвертым совсем не улыбалась Лёре. Поэтому она покорно проглотила пилюлю и подобралась на сиденье. Тотчас ей прямо на сапоги брякнулся огромный мешок. Стало очевидно, что двести шестьдесят или более километров до Смоленска ей предстоит ехать с поджатыми ногами, причем изменять их положение будет невозможно: твердый мешок так велик, что поставить ноги наверх не получится. Она решилась робко запротестовать:

- Послушайте, это ни на что не похоже... Нельзя ли в какое-то другое место его положить? Ведь я и пошевелиться так не могу...

Толик сплюнул:

- Ну и не шевелись, не на сцене, – и невозмутимо, не глядя более на Лёру, стал вразвалку огибать «уазик».

Лёра тоскливо оглянулась. Две другие пассажирки уже сидели на своих местах позади, перед ними на полу тоже валялась какая-то кладь, но место для ног все же оставалось. Едва ли теперь кто-то из них добровольно поменяется с Лерой местами. Но наказана она была вполне по заслугам: ведь первая залезла на место рядом с водителем, чтобы избежать близкого соседства с какой-либо из женщин. Они казались Лёре такими неприятными, что сидеть впереди даже с Толиком виделось более приемлемой перспективой... Вот и получай, что заслужила.

На глаза Лёре навернулись слезы, но она быстро напомнила себе свое жизненное правило: «Если положение ужасно, но изменить его ты не можешь, то реветь все равно бесполезно». Слезы наружу не вытекли.

«Уазик» пофырчал для затравки, Толик напутственно матюгнулся, и машина кое-как тронулась, по-утиному переваливаясь на глубоких скользких рытвинах.

Как можно дальше отодвинувшись от водителя и чувствуя, что ноги уже немеют, Лера раздраженно смотрела вперед. Ей было ненавистно сегодня абсолютно все окружающее и, прежде всего – она очень четко это понимала – собственная глупость и жадность, ставшая причиной сегодняшнего клокотавшего раздражения. Стыдно сказать, из-за чего всё это! Из-за зимнего пальто. Да, да, не было у Лёры зимнего пальто. А была тонкая кожаная куртка, которую она носила несъемно с сентября по май, в холода подшивая в нее облезлую подкладку из рыбьего меха. И носила так пять лет. К началу шестого собственное отражение в зеркале в этом наряде стало ей так отвратительно, что хоть плюнь. Эта куртка с рыбьим мехом и сейчас на ней — особо потертые места Лера замазала черными чернилами. А теперь вот (и мысль эта грела) будет настоящее пальто. Маня-портниха, по совместительству костюмер, Маня-Золотые-Ручки, обещала сшить ей пальто бесплатно: слишком уж много услуг успела оказать ей Лера. Бабушка подарила выдавшего виды песка, и Лера сама перекрасила его «в лису» пульверизатором для замши, так что теперь престарелый возраст животного ненаметанный глаз не определит.

Лера пошевелила ногами, пытаясь оттолкнуть куда-нибудь мешок. Но толкать было некуда, да и мешок был настолько тяжел, что не двигался.

«Терпеть, – страдальчески сказала себе Лера. – Терпеть четыре часа. Всего четыре часа».

Она попыталась развлечь себя мыслями о будущем пальто, о том, как через четыре часа она будет в Смоленске, а завтра утром – уже в Москве, и у нее окажется целый день до ночного поезда, чтобы купить себе материю, подкладку и ватин, а потом еще сходить в Третьяковку. У Лёры родилась еще одна контрабандная мысль, и эта мысль была ужасна: посетить Мавзолей, пока мумию где-нибудь не зарыли. Там, конечно, камеры везде понаставлены, но интересно все же – будет, ли ей в наше время что-нибудь за то, что она перед мумией сделает какую-нибудь гадость – плюнет, например. Нет, Лера этого не сделает. Она притворится перед собой, что не плюнула потому, что, если ее поймают и пришьют хулиганские побуждения, то она не успеет на поезд – а ей до зарезу нужно послезавтра утром быть в театре, в Петербурге...

Да, в театре. Потому что послезавтра выяснится, сыграет ли она свою Роль. Ту самую Роль, после которой артисту уже все равно, кого он будет играть до смерти – героя-любownika или «кушать подано». Ту Роль, которая бывает одна, как единственная симфония у Моцарта – Сороковая, как единственная картина у Леонардо – Джоконда, как единственная партия у Шаляпина – Мефистофель, И Лёра получит свою Роль, потому что знает: она стала актрисой только для того, чтобы когда-нибудь ее сыграть... Все совершенно разрешится послезавтра, но Лёра чувствует – не будет иначе. Для того она сейчас и трясется с тремя сверхнеприятными людьми в «уазике» по ужасной дороге через смоленские леса. Все внутренности у нее подпрыгивают, ноги ломит и сводит под сиденьем. Вид, конечно, у Лёры сейчас жалкий, ничего не скажешь: шарф намотан так, что торчит один нос – и тот от холода красный: печка в машине то ли сломана, то ли ее и вовсе нет. Руки в перчатках коченеют, струйка пара толчками бьется из-под шарфа.

Лёра опять смотрит на дорогу: та представляет собой сплошное бурое месиво, которое еще две недели назад было непролазным. Но теперь, к середине ноября, наконец, подморозило, и развороченную тракторами грязь схватило холодом – так она и застыла жуткими колдобинами – и прыгает, прыгает по ним, и будет прыгать еще четыре часа их горбатый выносливый «уазик». С обеих сторон дороги – неприветливый ноябрьский лес. Снег в этом году еще не выпадал, он бы смягчил картину. Без него один вид унылых деревьев, серого, вот-вот готового упасть на землю неба так удручает сердце, что невозможно думать ни о чем радостном и приятном вроде весенней поляны или хотя бы горячей ванны.

«Вот и жизнь моя вся такая, – намеренно бередя себе душу, думает Лёра, – как эта ноябрьская дорога...».

\* \* \*

Их театр назывался «Марлен».

Название для театра еще сносное, но все дело в том, что так звали их главного режиссера и художественного руководителя – Марлен Васильевна. Родители Марлен Васильевны давно умерли, но Лёре очень интересно было бы взглянуть на милых, скромных старичков – Василия Петровича и Феклу Терентьевну, которые, неведомо как оказавшись в конце тридцатых в Ленинграде и, услышав где-то голос Марлен Дитрих на граммофонной пластинке, так его полюбили, что новорожденную дочку назвали в честь великой певицы. Почему нормальные, тихие люди не задумались над тем, что звезда Дитрих неминуемо погаснет, а имя у девочки – останется? Ну, положим, не задумались, но что она – Васильевна, это-то они знали? Лёру всегда поражали родители всяких Рудольфов Кузьмичей и Жозефин Сидоровн – чем они думают, ведь детям родным имена дают!

Но Марлен Васильевна не страдала. Близких приучила звать себя таинственно – Мара; священник, правда, долго недоумевал, в кого крестить, в Марию или в Марину. Тут Лёра, бывшая на крестинах, подсказала Маргариту – и поладили на компромиссе. Но для Лёры Марлен Васильевна так и осталась Марлен Васильевной.

Лёра появилась в театре, когда он существовал уже год. Появилась просто: мыкаясь по театрам со свежим дипломом в руках, она толкнулась и в этот с глупым вопросом:

«Вам актрисы не требуются?». «Требуются, еще как требуются!» – радушно ответила изумленной Лёре маленькая, пестрая и блестящая женщина лет пятидесяти с небольшим.

Театру требовались все, потому что, поработав у Марлен Васильевны месяц-другой, люди любых специальностей бежали оттуда, на ходу шнуруя ботинки: за такую адову работу надо ведь хоть что-то получить!

Как Марлен Васильевне удалось создать театр – оставалось загадкой для всех. По специальности, полученной давным-давно в Институте Культуры, она была руководителем самодеятельного театрального коллектива и моталась всю жизнь по Дворцам пионеров, докатившись однажды даже до массовика-затейника на теплоходе. Амбиции в этой энергичной, нестареющей женщине никогда не угасали, но реализовать их до начала девяностых не позволял закон: амбиции были немаленькие: иметь собственный театр. В девяностых пробки вылетели из всех бочек одновременно, и огромная мутная и грязная волна хлынула на голову обывателю. Каким-то образом эта волна вынесла и Марлен, и ей повезло так, как может повезти либо дураку – а душой она не была – либо детски-невинному человеку, в чьих глазах вечно отражается небушко. Такими глазами и обладала Марлен. В своих дешевых бусах из облупившегося поддельного жемчуга, с потертой кошелкой в обтянутых трогательными митенками лапках и непоколебимым девизом «Ну должны же они пожалеть одинокую женщину, кото-рой так мало нужно!» она сделала то, чего не смогли добиться многие асы профессионального театра и кинематографа. Марлен Васильевна наивно и безо всякой очереди входила в кабинет министра культуры, обезоружив рать секретарш умилительно-детским «на секундочку» – и ничуть не кривила душой, ибо искренне верила, что вопрос ее так прост, что больше времени и не займет. Если ей по первости где-то отказывали сгоряча, то потом неизменно уступали младенческой обиде ребенка, не получившего пряника, и только когда за ней захлопывалась дверь, задавали себе естественный вопрос: «А кто это, собственно, здесь был? Девочка-недоумок или матерая аферистка?». Все дело в том, что совершенно законные и простодушные хлопоты Марлен Васильевны о будущем «своем» театре и успех этих хлопот в глазах тех, кто не умел по-детски смотреть на мир, выглядели результатом дьявольских интриг – потому что иначе не бывает.

А у Марлен получилась фантастическая вещь: без единой копейки капиталовложения, без какого бы то ни было блата она через полгода зарегистрировала частный театр «Марлен», заручилась поддержкой опытного менеджера и сняла «в кредит» пуствующий зальчик в захудалом ДК.

Теперь она рассчитывала развернуться и создать непреодолимую конкуренцию одряхлевшему БДТ. Но тут-то все чуть не умерло в зародыше: в театр никто не шел, сборов не было, зато поборы были, из зальчика грозились выгнать за неуплату, актеры разбегались. Оставалась только вывеска «ТЕАТР МАРЛЕН», – она-то и привлекла внимание безработной Лёры.

И, если Марлен Васильевна театр, безусловно, создала, то Лёра – вдохнула в него жизнь.

С первых же дней в «Марлен» она поняла: никакого «своего театра» у Марлен Васильевны быть не может в принципе. Если стародевичья невинность и открывает иногда недоступные кабинеты, то во главе театра должна встать Личность, иначе он останется только на бумаге. В неизвестный театр, ставящий короткие пьески неизвестных авторов, с неизвестными артистами в главных ролях серьезная публика, формирующая общественное мнение, не пойдет никогда. И альтруистическая философия Марлен Васильевны, заключенная в сакраментальной фразе «Нужно давать молодым шанс», не сработает ни в каком случае. Крыша умирающего ДК действительно хороша для драмкружка, к которым привыкла Марлен, но абсолютно непригодна для профессионального театра. Техническую сторону дела Лёра тоже обнаружила в самом плачевном состоянии: условные, грубо выполненные декорации («Но ведь это же – авангард!» – всплескивала ручками Марлен), полное отсутствие костюмов (играли, как водится, «в своем»), потертые сиденья довольно большого зала, который, сколько билетов ни продай – все равно будет иметь видимость пустого...

- Марлен Васильевна, – осторожно втолковывала Лёра, – забудьте вы про авангард, он уже лет пятнадцать как всем надоел. И бросьте вы эти пьески-однодневки на злобу дня. Нам нужны имена, иначе мы утонем через полгода, да еще окажемся по уши в долгах...

В долгах оказалась бы, конечно, персонально Марлен Васильевна, но Лера сознательно использовала «мы» как психологический прием: нужно было создать у незадачливой старой девы впечатление, что она не одинока.

- Какие имена, Лёлочка?! – огорчалась та. – Кто к нам пойдет, с именами-то!

- Никто, – отрезала энергичная Лёра. – Мы сами возьмем. Тех, кто уже – того... лишился права голоса. Нынче в моде Набоков – давайте ставить «Событие». Пьеса простая, если делить с умом – она пойдет. И – вон из ДК: это просто антиреклама!

Вскоре Лёра обнаружила вместительный полуподвальчик в центре города, как будто специально предназначенный для скромного зала мест на сто восемьдесят. Стоимость аренды, ввиду аварийного состояния помещения, оказалась смехотворно низка.

- В подвал! Да кто ж туда полезет! – опять ахнула Марлен Васильевна.

- Ничего-ничего, – утешила Лёра. – Вспомните «Бродячую Собаку». И вообще – это как посмотреть. Все зависит от того, как мы преподнесем зрителю свой подвал. Если с извинениями за неудобства – нас засмеют. А если мы денег потребуем за то, что не как у всех, а по особенному, в подвале – то валом повалят. Сами знаете: публика – дура. И давайте думать о репертуаре. Актеров я вам достану хоть пачку, только сами посудите: какой кретин захочет играть рэкетира в пьеске Сидорова? А вот Рогожина... Покажите мне такого идиота, который откажется, и я скажу вам, что я ничего в театре не понимаю. Бесплатно сыграет, да еще спасибо скажет, что позволили – я вам говорю. Да-да, мы еще и на Достоевского замахнемся – только дайте срок. А начнем с Набокова. Вот только дыру эту крысиную чуть-чуть приведем в божеский вид... Причем очень-то вылизывать не станем – публике интересней будет: экзотика...

- Ну-ну, ну-ну... Попробуй, девочка, попробуй... – неопределенно согласилась Марлен Васильевна.

Лёра попробовала: ничего другого не светило, потому что волосатой лапы нигде не наблюдалось. Сама перед собой Лёра душой никогда не кривила и точно знала, что она делает: она вовсе не помогает Марлен Васильевне. Она создает театр для себя, и руководить им станет сама. Марлен свою роль сыграла: оформила для нее, Лёры, бумажки. Пусть теперь сидит со своим почетным титулом главрежа – ну и что, английская королева, вон, тоже сидит. А Англией управляют даже не англичане.

Она бросила клич. Отозвались буквально все ее знакомые – такие же несчастные и неприкаянные люди, вместе обозначаемые ругательным словом «богема».

Народ еще понимает трагедию опытных специалистов с высшим образованием и сочувствует этим горемыкам, вынужденным наниматься в рабство к «черномазым» и торговать за кусок хлеба в коммерческих ларьках. Добрые бабушки пекут пирожки, выносят их шахтерам на рельсы, и все дружно удивляются – как это можно прожить несколько лет, вовсе не получая зарплату... Люди, в общем, солидарны в ненависти к мучителям и объедалам, но есть еще один непонятный и недолголюбимый класс – богема.

Спросить у учительницы, доктора, рабочего – что такое богема? В зависимости от уровня культуры вопрошаемого, лексикон варьируется, но смысл остается один: ненужный балласт общества. Люди, называющие себя актерами, художниками, писателями и музыкантами, у которых вечно нет денег на батон, но на водку всегда найдется. Богема проводит время двумя способами: непотребными оргиями и праздношатанием, во время того и другого сотрясая воздух, высокими фразами об искусстве. У этих людей всё «не по-людски», смысл жизни они видят в удовольствиях, в свободе от любых нравственных обязательств, а чтоб такая аморальность слишком уж в глаза не бросалась, прикрывают ее жалобами на непризнанность, сокрушаясь, что «таков удел всех гениев». Так объяснит затруханный четырьмя «сутками» в месяц и двумя полостными в день кандидат медицинских наук, выбивающий «чистыми» около восьмисот – это при том, что жену «сократили», а двое детей хотят есть и слушать плейер, которого нет. Мужик попроще ответит в духе Хрущева: «П...ы!» – и на том вопрос о

богеме во всех слоях общества, как правило, исчерпывается. Ведь ясно же: актеры – это те, которые играют в театре и кино – их знают поименно; художники – они выставки устраивают, персональные; писатели – вон, сколько книжек да еще красивых каких; музыканты – те в филармонии, концерты дают и в конкурсах побеждают. А остальные – что? Так, шушваль, богема. Примитивный подход, всё, мол, сложнее? Ничего подобного: головы людей вообще просто устроены.

Лёра всегда так думала и, будучи сама богемой, с этим мириться никак не желала. Она-то знала: невостребованными в творческом отношении остаются люди, которых попросту боятся – такую потенциальную конкуренцию они составляют. И любая прибравшая к рукам минимальную власть посредственность охотней поднимет и пригреет посредственность же, чтоб, не дай Бог, не увидели все вокруг, что «король-то голый!»

Пьет, говорите, богема? Да помилуйте, когда ей пить-то! Пишешь картину три на четыре,хватишь сто грамм – и кому-нибудь голову на задницу пририсуешь!

Утром репетиция, днем примерка, споры, декорации, вечером спектакль – не то что выпить, поесть не успеешь! Книгу пишешь – не поесть и выпить – спать некогда!

Развратники? Насчет повальных оргий – это попросту злобное вранье: человек искусства до такого не опускается. Ну, а насчет греха блудного и прелюбодейного – так его не больше и не меньше, чем где бы то ни было. И насчет содомского не парьте: Лёра с семнадцати лет в богеме – а только одного гомосексуалиста за всю жизнь и видела, скромного такого, нежного...

Что касается праздности – так это и вовсе оскорбления. Да, не ставит себе богема будильник на половину седьмого – и это, пожалуй, единственная привилегия. Хотя, если доделать надо что-то в срок, то ставит на четыре. Это – «жаворонки», а «совы» – те вообще не ложатся.

Конечно, отдыхает богема, как и все смертные. Но гораздо реже, чем это принято думать. Идеализировать нечего: случается кому-нибудь и перебрать, и набуянить, но это, право же, все равно мило выглядит по сравнению с бухой интеллигенцией первого поколения, которая «после третьей» вдруг перестает быть интеллигенцией, а становится тем, что есть: ничем. Пьяные разговоры, потекшая косметика, соус на подбородке, сальные анекдоты... Да кто слышал такие мерзости из уст художника или поэта?! Этого просто не может быть, потому что вкус и такт не изменят ему даже под градусом, ибо это – в крови человека...

Посмотрела бы теперь публика на собранных Лёрой в подвал актеров! Три недели они работали малярами, штукатурами, плотниками, стекольщиками, сантехниками, инженерами, электриками. Кстати, еще одно положительное свойство богемы: она умеет, если захочет, всё.

Ну, а кто главный дизайнер? Лёра. Мастер по свету? Лёра. Кто по вечерам роли распечатывает? Лёра. Кто эскизы костюмов нарисовал, тряпье для них старое нашел и портниху заодно; кто занавес шьет, да не простой, тройной; декорации ночью кто мастерит? Лёра, Лёра, все Лёра.

Кто при этом всех еще проверит, посоветует, поможет со знанием дела? Опять Лёра. А Марлен Васильевна только дома у себя целыми днями посиживает, кофе попивает, да портит Лёре нервы по телефону:

- Лёрочка, но мне вовсе не этого хотелось... Я хотела что-то современное, такое, знаешь, модерновое...

И жестко отвечает уже отведавшая власти Лёра:

- С вашим модерном мы через неделю провалимся!

Зато через три недели вновь набранный коллектив уже знал, «кто в доме хозяин». Марлен Васильевну никто ни о чем не спрашивал: английская королева. За Лёрой же укрепились кличка «Серый Кардинал» – на это даже обижаться не следовало: театр отныне принадлежал ей, только ее мнение имело вес, без ее санкции и горшка с цветами никто бы не посмел повесить.

Детская душа Марлен Васильевны возрадовалась: на глазах у нее в рекордные сроки из ниоткуда и из ничего сам собой возник чудный театрик, который сделали добрые, бескорыстные люди, одержимые одной идеей – помочь одинокой женщине воплотить

свою давнишнюю идею. И, конечно, дирижировала милая, славная девочка Лёрочка – так она полюбила беззащитную стареющую даму, что всю душу вложила в ее мечту. Теперь ей можно и большее доверить: пусть роли для «События» распределит. Вон, как нее ладно у нее получается...

Марлен Васильевна полюбила Лёру. Полюбила капризной и опасной любовью вечно зависимого, легко попадающего под любые влияния существа.

А Лёра не могла остановиться. Сегодня поставили последнюю точку в ремонте – завтра начинаем репетировать. Роли все выучили? Кто-о не выучил?! Ничего не знаю, всем было некогда, а все выучили! Понимала: дать сейчас передышку – потом плеткой их не сгонишь! И репетиции пошли.

Тем временем Маня-Золотые-Ручки спешно шила костюмы. И не условные, а настоящие: два вечера до того Лёра провела в Публичке, разыскивая и уточняя детали. Время действия – конец двадцатых. Значит, костюмы будут точь-в-точь такими, как тогда носили. А если не будут, то театр найдет себе другого костюмера!

Занятая сама в главной роли, Лёра еще успевала думать о рекламе, типографии, билетах. Каждому актеру было выдано по строжайшим приказом: продать и деньги принести. Продали, принесли. Па премьере был аншлаг, и Марлен Васильевна плакала от счастья. После спектакля Лёра с глубоким старомонным реверансом преподнесла ей все брошенные на сцену цветы...

Начало было положено, оставалось только закрепить на отвоеванных рубежах.

Прошло семь лет, а театр жил вопреки законам всякой логики. Доход он приносил небольшой, зарплату актеры получали нищенскую, зато они всегда были заняты. Бедовала со всеми и Лёра – вот и кожаная куртка пять лет одна и та же.

Маленький театр ценили знатоки, но спонсоры находились редко и скуповатые. Костяк труппы сохранился прежним, но по совместительству все делали всё; занятые в спектакле актеры, не переодеваясь, часто сменяли друг друга у софитов; вечной забавой служил ведущий актер Пименов, наделенный, ко всему прочему, недюжинным даром звукоподражания: в спектакле, имевшем целых два месяца бурный успех, ему приходилось самозабвенно лаять за кулисами, а десять минут спустя он уже принимал на сцене героическую смерть – да так натурально, что в зале слышались всхлипы. Гримировались, конечно, сами – о другом и не мечтали... Никто не жаловался: даже такая собачья жизнь лучше, чем подрабатывать на елке в школе Дедом Морозом. Все понимали, что для молодого актера иметь регулярную работу по дипломной специальности – вещь редкая и почти невозможная в наше время.

Репертуаром заведовала по-прежнему Лёра. Марлен Васильевна пыталась раза два по-хозяйски вмешаться, но такие приступы приходилось деликатно купировать: Марлен не могла ровно ничего. Выросшая в традициях детских спектаклей со зверушками, она и в «своем» театре продолжала мыслить теми же категориями. Кроме того, она любила почитать зарубежные дамские романы, проливать над ними сладкую слезу – и все норовила заказать по какому-нибудь из них сценарий. На репетициях Марлен Васильевна всегда присутствовала со значительным видом и в митенках, в то время как Лёра сама и играла, и режиссировала. Марлен, правда, искренне верила в то, что единолично ставит эти блестящие спектакли – ведь Лёра каждую минуту оборачивалась к ней со словами: «Правда, Марлен Васильевна? Ведь именно так вы указывали вчера?». И добрая старая дева была уверена: конечно, правда, и так она указывала, и того добивалась, а Лёра ей просто хорошо помогает – правая рука, ничего не скажешь! Она прочно забывала, что ничего вчера у Леры за рюмочкой ликера не указывала, а наоборот, Лёра, тихо зверея, два часа втолковывала ей свою правоту, а она упорно не желала понимать. В конце концов, что-то начинало у нее брезжить, и она сдавалась, умело убежденная Лёрой в том, что это ее, Марлен Васильевны, оригинальная идея. И с этой идеи сбитуую с толку Марлен было уже не своротить.

- Извольте прекратить отсебятину! – думала, что гремела, а на самом деле пищала она. – И придерживайтесь указаний режиссера!

Лерина работа не разжимала свою медвежью хватку ни на день. Не имея ампула, но обладая всеядным даром, она переодевалась и гримировалась, бывало, по четыре раза за

спектакль, чтоб появиться на сцене, кроме основной роли, еще и соседкой, и почтальоном, и доктором... Когда в спектакле было четыре акта, она уже волочила ноги, выходя на вызовы, а домой добиралась интуитивно, как в тумане.

При рухнувшей личной, такая общественная жизнь ее вполне устраивала, она привыкла, впряглась и, вероятно, зарвалась. Зарвалась и не заметила, как давно уж бессленно висевшая в зените ее звезда покачнулась и в один ничем не примечательный день сорвалась вниз: Лёра утратила благоволение Марлен Васильевны.

Началось все незаметно – около полугода назад, когда в театр по чьей-то протекции поступила новая актриса – Ольга Котова. Не раз потом Лёра кусала себе локти – ведь это она согласилась ее взять: тогда еще без Лёриного решения никакие кадровые перемены в принципе не могли совершаться. Но Котова Лёре понравилась: та же «всеядность», та же универсальная внешность, как и у нее самой – то есть овальное правильное лицо с ровным цветом, короткие русые волосы – внешность, из которой можно вылепить все, что угодно: от кисейной барышни до Клеопатры. Плюс ко всему – мягкие манеры в жизни и, что добавило еще очко в ее пользу, абсолютная неделовитость: казалось, Ольга стремится лишь играть, и играть хорошо, а технические детали ее не волнуют. В смысле игры придраться тоже было не к чему: начитанная и глубоко чувствующая, Ольга таинственно угадывала даже скрытые замыслы автора и уважительно ориентировалась по ним, не обращая никакого внимания ни на главрежа, ни на Лёру – и выходило хорошо. Лёре всегда импонировали независимые люди – при том, конечно, условии, чтоб из их независимости выходило что-то путное – поэтому она и не стала точить на Ольгу зуб за непокорность, понимая, что такое приобретение – находка для театра. Дура-Лёра даже стоя аплодировала Котовой вместе со зрителями на ее пробном спектакле, где сама занята не была. В тот-то день она и совершила очередную крупную жизненную ошибку, постановив: принять безоговорочно.

Спустя пару месяцев Лёре показалось что-то странное: без видимых причин Марлен Васильевна вдруг стала проявлять необычную норовистость, выскальзывать из рук. Лёре не нужен был контроль сам по себе, она с удовольствием перевалила бы половину забот на чьи-нибудь плечи – но это должны были быть плечи единомышленника. Среди трупы таковых не нашлось – все норовили лишь урвать да слизнуть, а воз везти – увольте. Утрата же контроля над «хозяйкой» театра означала крах всего. Отвергнув по капризу Лёру, Марлен Васильевна в месяц развалит то, что кропотливо создавала Лёра семь лет – и театр превратится в балаган, никому не нужный и смешной...

Заметив вольности Марлен, Лёра мысленно оглянулась назад с целью понять, когда и что она упустила – и ахнула: все началось с приходом Ольги! Стало быть, за спиной у нее, Лёры, идет незаметная стряпня неизвестного блюда, и шеф-повар, несомненно, Котова. Осторожно начала Лёра выведывать и выспрашивать. Коллеги, еще не раскусившие, что власть меняется, охотно ее просвещали. Через неделю перед Лёрой нарисовалась определенная и жуткая картина.

Оказалось, Ольга тесно подружилась с Марлен Васильевной, часто у нее бывает и приглашает к себе. Лёра и сама так делала, но Ольга пошла дальше: она говорила с несчастной стареющей женщиной не о театре и его заботах, как всегда делала Лёра, а ненавязчиво подъезжала к ней с другой, уязвимой, стороны, до которой Лёре никогда не было дела, да и времени не хватало. Оленька Котова часами вела с Марлен Васильевной трогательные беседы «за жизнь», внимательно выслушивала ее нехитрые жизненные перипетии, давала советы по здоровью, отвела с какой-то болячкой на консультацию к знакомому врачу... Лёре, честно говоря, было глубоко наплевать на Марлен-Васильевнин остеохондроз – мало ли, у кого где дергает, а вот Олечка озаботилась подарить ей ко Дню Ангела модный дороговатенький аппаратик на батарейках – и главрежу чудно полегчало... Никогда не являлась Ольга к ней «на чай» без тортика, в театре тоже стелила соломку: то кресло пододвинет, то дверь откроет, а сама скромно отступит на шаг, то кофейку с корицей заварит и доставит в руки... Марлен Васильевна таяла: впервые в ней разглядели человека – да что там разглядели! – заинтересовались и заботятся!

Лёра так выслуживаться не умела: раз совместный их интерес – театр, значит, и общение должно идти в этом направлении, и нечего дружбу разыгрывать, откуда ей взяться-то!

Она впервые растерялась, а Оленька шла и шла по своей укромной тропинке. Маня-костюмерша, как-то раз гладившая поздно ночью костюмы для детского утреннего представления, подслушала разговор в кабинете главрежа – подслушала и добросовестно донесла, как слышала тихий голос с голубиными интонациями, вкрадчиво звучавший из-за двери.

...Марлен Васильевна талантливый человек... Но она человек мягкий. Она сама никому за всю жизнь зла не причинила, и в других не подозревает... Нет-нет, пусть она не подумает чего-нибудь такого... Ольга вовсе не собирается никого лично затрагивать... Но она тут человек новый, и ей сразу бросилось в глаза: некоторые совершенно забыли, кто здесь главный режиссер... Того и гляди, театр другое имя получит, уж не «Марлен», конечно...

Подробностей, околичностей и оговорок Маня не помнила, сказала только: «С лаской подходила, стерва. И тебя с грязью напрямик не мешала. Несколько раз обмолвилась – какая-де ты талантливая, сколько для театра сделала... А по смыслу выходило, что старалась ты с единственной целью: выжить Марлен и все прибрать к рукам официально... Та заглотнула наживку только так! Держись, Лерка, худо тебе теперь придется... Как бы тебя саму не выжили – после всего-то, а?».

Лёра задрожала: если теперь Ольга не мытьем, так катаньем займет ее место, то поверженную соперницу рядом не оставит. Послушная воле новой любимицы, Марлен Васильевна в два счета выпрет Лёру за дверь – и будет гордо думать при этом, что сама ловко разоблачила изменницу.

Ситуация оказалась такой новой для Лёры, ни разу за семь лет в театре не столкнувшейся ни с интригой, ни с закулисной подлостью – настолько хорошо она все контролировала – что теперь у нее просто опустились руки. Она знала, как обновить репертуар, какие точно декорации потребуются к следующему сезону, кто где должен стоять на сцене и как ублажить зрителя в антракте, чтоб не сбежал раньше времени – но понятия не имела о том, как бороться с предательством.

Худшие опасения подтвердились уже на следующий день: Марлен впервые резко и нехарактерно грубо оборвала ее на дневной репетиции, употребив слово «Забываешься!» – а Оля Котова потупила глаза: Лёре стало ясно, что слово это именно она вложила в уста простодушной режиссерше. Вдобавок, Лёра оказалась дискредитирована перед всей труппой: теперь только совершенный ежик не мог догадаться, что ее влиянию и власти пришел конец...

Валерия пережила в октябре скверные дни. Она сидела дома под предлогом высокого давления, но, чувствуя, что она теперь в опале и общение с ней чревато немилостью в театре, ни один человек из труппы – из тех, которым она давала любимую работу целых семь лет! – не удосужился даже просто позвонить ей и хотя бы спросить о здоровье. Лёра ощутила себя зачумленной. Она испытывала чувства человека, на глазах которого безжалостно рушат его собственный дом, построенный своими руками с любовным тщанием, и он остро помнит, как складывал его по кирпичикам, любовался работой, переделывал, доводил до совершенства и вот, собрался зажечь счастливо – и вдруг...

Отсрочка конца пришла неожиданно, как всегда приходят такого рода мнимые спасения. Ей вдруг позвонил бывший однокурсник, человек по имени Вадик, о котором она лет пять ничего не слышала. Такие люди есть у многих; с потрясающей точностью они возникают из своего «ниоткуда» именно тогда, когда ближние отступаются.

- Слышь, Лёрка, – начал он с места в карьер. – Подкалымить хочешь? Я гастроль сколачиваю.

Вот тут Лёра и вспомнила про зимнее пальто, и ей пришла смешная мысль: из театра она явно вылетает, значит, зимнего пальто и на этот раз не будет. Почему-то она не подумала о том, что станет зимой есть, а вот в чем ходить – пожалуйста. Уловив это, Лёра сама себе усмехнулась: вот она, женская психология!

- Где гастролировать-то собираешься? В Крыму, аль на Кавказе? - поддержала тон Вадика она.

- Держи карман шире. Под Москвой немного, а больше – под Смоленском. Мы даже в самом Смоленске не востребованы. В общем, так. Ты у нас актриса, можно сказать, широкого спектра действия, так? Так. Миниатюры уже забиты, тебе не светит. А вот как у тебя насчет художественного чтения?

- Вроде нормально, – Лёра испытала при этом тоскливое сосущее чувство, что делает что-то не так.

- Ну и лады. Только смотри – Чехова не бери: он всем советским людям еще в школе опротивел. Тэффи есть? Ну валяй им Тэффи – все равно ничего не поймут. Публика, сама понимаешь, нерафинированная. А у меня зато в программе будет художественное чтение, миниатюры, пантомима... Представляешь себе, в Смоленской области, в райцентре каком-нибудь – пантомима! Я из покойного Ленконцерта двух мимов надыбал, мужа с женой – сокровище, в Америке где-нибудь миллион бы огребли, как не фиг делать. А тут на трико заплату к заплате пришивают. Люрексом, чтоб все думали, что так и надо... Так чего, договорились, Тэффи на тебя пишу? Недели две проваландаемся, все схвачено уже, по штучке в карман – и домой из Москвы на «Красной стреле». Не забудь там, через неделю... В общем, я на тебя рассчитываю...

Подобные гастроли Лёра ненавидела не за вынужденную халтуру – у них там и того нет – а за постоянное ощущение физической грязи на теле. Это ощущение чистюля Лёра помнила очень хорошо: мотаешься по сельским клубам, счастье, если в провинциальном городке нарвешься на баню с общим залом, где шныряют мокрицы – суцая пытка для чистоплотных стыдливых людей; а так приходится, дрожа от холода и чуть не плача, наскоро обтираться в каких-нибудь сенях над ржавым тазом; голову по-первости моешь, когда кто-то поливает из ковшика, а потом и вовсе плюешь на это дело, обходясь парочкой париков... Кроме того, приходится спать в одном помещении с другими актрисами, которые никак не могут угомониться, а когда угомонятся – то ужасающе храпят, считаться с их привычками и причудами, выслушивать бесконечные истории о том, кто с кем живет и кто кого бросил – гадость какая!!!

Тем не менее, сейчас поехать однозначно следовало. В самый раз ей, оплеванной, убраться на две недели, отвлечься и зализать рану. Да и пальто тоже. Оно встало у Лёры перед глазами – васильково-синее, с лисой, с перелинкой... Ай да пальто!

Наутро Лёра решительно явилась в театр, официально поговорила с Марлен Васильевной, чаще чем нужно употребляя слово «гастроли» («Раскусят, конечно, что за славная поездка – ну и пусть»), потребовала заменить ее на две недели («Вот Оленька Котова – неопытная, конечно, еще, но подает некоторые надежды... Вы уж ее тут без меня как-нибудь по-матерински, а...») и сделала перед всеми вид, что ничего не произошло – так, легкое недоразумение. Оставалось доиграть два спектакля в этом театре, а может – и вообще в жизни, кто знает... Вдруг и ее судьба теперь (Лёра вздрогнула) – коммерческий ларек?

...Вызовы кончились, занавес упал в последний раз. Сначала сунув под мышку, а потом бросив на ближайший столик и позабыв навек охапку цветов, Лёра уныло поволочилась в свою гримерную – единственную привилегию: остальные гримировались вместе в довольно просторном предбаннике туалета. Села на стул и сказала: «Всё», – но в дверь постучали. Лёра промычала: «Н-ну...». В дверь просунулась голова – только голова, второй человек поместиться в гримерке не мог – Мани-костюмера.

- Топай к нашей Девиге. Зовет. Кажись, на расправу. Там Ольга эта у нее, да еще мымира какая-то сидит. Сказала – так иди, мол, в костюме, да живей, нервничают они там...

«Неужели прямо сейчас попросит? – мелькнуло у Леры. – А что, вполне возможно... Колесико-то набрало обороты, теперь не остановишь».

Как была, в костюме гетеры Габротонон (нынче давали Аристофана), сменив, правда, неудобные натиравшие сандалии на лодочки, неспешно, хотя перед смертью и не надышишься, Лёра направилась в клетушку Марлен Васильевны, именуемую кабинетом. Вошла, не постучав: пусть знают, что она так просто не сдастся.

В таком же пестреньком и блестящем, как и хозяйка, кабинете, кроме нее самой и Ольги Котовой, присутствовала еще одна дама неопределенных лет: про такие лица никогда не скажешь точно, тридцать или пятьдесят, они увядают сразу по миновении юности и со временем изменяется только цвет – от желтого к серому.

Безо всякого стеснения выставив длинные коричневатые зубы, дама поднялась навстречу Лёре, распахивая руки для объятий. Лёра и шарахнулась бы – ведь страшная мерзость обниматься с незнакомыми, она и дружеские-то телесные контакты выносила с трудом – да было некуда. Пришлось, вдобавок, подавив брезгливость, вытерпеть еще и три клевка попеременно в обе щеки («И что за манеры у людей – прямо Брежневы поголовные!»).

- Ну вот и вы, милочка, а мы уж вас ждем-ждем, ждем-ждем... – неожиданным басом произнесла после этой процедуры дама.

- Это коллега моя, главреж Любовь Максимовна... – сочла нужным пояснить Марлен Васильевна.

«А театр-то явно рангом повыше, доходы имеются: костюм-то прямиком от Кардена, а духи, кажись, «Шанель», – быстро определила Лёра. Ей стало обидно: ну зачем такому крокодилу баснословно дорогие тряпки и духи – ведь ничто и никогда ее не украсит... А вот ей бы, Лёре...

- ...из «Серебряной Дороги», – закончила Марлен Васильевна, а у Лёры захватило дух.

В ней встало предчувствие чего-то огромного, невероятного и... вот-вот исполнимого. Она медленно села.

Между тем Любовь Максимовна как-то одним махом стряхнула с себя приторность, спрятала зубы, стала похожа на человека и тоже села, беспечно выложив холеные руки на стол. Даже голос зазвучал иначе – в нем появились глубокие ноты баритона, и странно было это слышать от костлявой женщины метр пятьдесят ростом.

- Вот что, девочки. С Марлен Васильевной я уже договорилась. Вкратце, ситуация такова. У меня одна приличная актриса на ту роль, о которой идет речь. И актриса эта сейчас беременна – токсикоз и прочее. Года на три, а то и навсегда, она – вне обоймы. А спектакль этот я выкидывать из репертуара не могу. То есть могу, но не хочу. Через два месяца – премьера. Я всюду искала замену, ходила, инкогнито, конечно, по всяким вшивым балаганам – у вас иногда такой алмаз откопаете – загляденье... – тут, слегка поперхнувшись, она покосилась на Марлен Васильевну, имея в виду сказать ей, что под «вшивым балаганом» она и не думала понимать ее замечательный театр, но смекнув, что та, как всегда, не дотумкала, не сочла нужным врать лишний раз. – Так вот, на вашу, Оля, и на вашу, Лёра, игру я сегодня смотрю уже в восьмой раз. Не могу остановиться на одной из вас, поэтому решила прослушать обеих. Каждая из вас получит сегодня текст роли. В руки. Надеюсь, двух недель, чтобы выучить – довольно. Ровно через две недели – сегодня среда, стало быть, в среду и ни днем позже – я вчерне прогоню спектакль. Два акта сыграет Оля, два – Лёра. Кто – какие, сейчас не скажу, чтоб учили без халтуры. Та, которую я выберу, будет играть. При успехе – получит ангажемент на сезон, а там увидим. Итак, вы сейчас берете роль...

- А... а что за пьеса? – пискнула ошеломленная Ольга.

- А вам какая разница? – отрезала Любовь Максимовна. – Вас приглашают сыграть в «Серебряной Дороге» – этого что, недостаточно?

Неопытная Оля смолчала, но Лёра вдруг всем сердцем, умом и даже телом ощутила, что молчать нельзя.

- Для меня – нет, – спокойно сказала она и этими тремя словами добилась своего: Любовь Максимовна подняла на нее глаза, в которых ясно проглянуло поверхностное желание увидеть человека, а не оцененную и выбранную актрису.

- Извольте, – без борьбы сдалась она. – Это «Повесть о Сонечке», по мотивам автобиографической прозы Цветаевой, а играть придется, как вы уже догадались, именно Цветаеву.

Лёра не знала, почему она не ахнула вслух – возможно потому, что перехватило дыхание. Со стороны Ольги тоже не донеслось никаких звуков – очевидно, переваривала сообщение.

«Моя! – громко сказал кто-то у Лёры в голове. – Моя – Роль!».

Вопреки женским традициям, поэзия Цветаевой по-настоящему не затрагивала в Лёре души, хотя она прекрасно видела всю ее гениальность. Но Лёра патологически любила великого поэта Цветаеву за ее прозу. Что до «Повести...», то, читая ее много раз, она прочувствовала каждое движение, увидела и проиграла каждую сцену, всегда удивляясь при этом – как никому до сих пор не пришло в голову адаптировать эссе под сцену – настолько оно артистически написано. Да и герои все – актеры, кроме самого автора... Себя же она раньше еще не чувствовала в силах, знала, что «кишка тонка», – и вот, Роль нашла ее сама... Нашла в трудный жизненный час. Идет в руки наградой и избавлением... Ах, есть еще Оля Котова, и думает приблизительно то же... Зря старается. Напрасно она подличала, отбивая у Лёры целый театр. Не сплети она даже своей паучьей сети – Лёра под ноги швырнула бы ей все сама – только ради одной этой Роли. Она хотела театр с Марлен Васильевной в придачу? Пожалуйста, пусть теперь забирает... Не жаль...

Лёра вернулась на землю и одумалась. Все выглядело, прежде всего, возмутительно-скандально. Главреж «Дороги» настолько презирала «Марлен» и все с ним связанное, что даже не поинтересовалась мнением коллеги – а захочет ли та расстаться с одной из ведущих актрис! Сами актрисы вообще в счет не шли: предполагалось, что они наперегонки побегут, услышав только заветное «Серебряная Дорога». Конечно, что и говорить: театр так театр, труппа с именами, каждый работает по специальности, аншлаги, доход, гастроли... Откуда угодно можно любого актера, при желании, взять, как мешок с картошкой, и доставить... Наплевать, наплевать на вес! Пусть мешок, пусть даже и дырявый – она, Лёра, и это перетерпит. Только получить Роль, а там...

- Но у меня завтра начинаются гастроли, – зачем-то сообщила она.

И действительно, если рассуждать здраво, от гастролей теперь не отвертишься. Да и отверчиваться не резон: как бы дело не обернулось, деньги выгорят еще не скоро, а насущные нужды – вот они: со всех сторон, как птенцы, рот разевают...

- Ну, это вы сами устраивайтесь, милочка, – повела костлявым плечом Любовь Максимовна, отчасти возвращая прежний тон: главное было сказано. И она-то уж точно знала, на какие гастроли едет Лёра: не в турне по Средиземноморью, как «Серебряная Дорога»...

\* \* \*

- Эй, актриска, оглохла, что ли, к тебе обращаются!

Лёра вздрогнула. Фраза исходила, конечно, от Толика. Он так невзлюбил ее с самого начала, что теперь все норовил оскорбить. Открыто ругаться повода не находилось, и он оперировал словом «актриска», звериным нутром своим чуя, что попадает куда нужно: в больное место. «Актриса» звучало бы почти уважительно, в «артистке» бы просвечивала чуть снисходительная доброжелательность, «актриска» же выражала то, что требовалось: открытое презрение трудящегося человека.

Встрепенувшись и оглядевшись, Лёра догадалась, что в машине давно идет общий разговор, который она, отключившись, не заметила, и теперь ей задали какой-то вопрос, а молчание расценили как гордое нежелание общаться с «низшими».

- Не снисходят, – мотнул головой назад Толик. – Брезгуют.

- Я просто не расслышала, – раздраженно ответила Лёра.

Она рассудила, что проехали уже километров шестьдесят, выгнать ее из «уазика» Толик не решится, и можно быть посмелее в выражениях. Она выпрямилась:

- Прекратите ёрничать. Я вас не трогаю, и вы меня не трогайте.

Толик сделал вид, что засмеялся:

- Слова-то какие знают... Ёр-ни-чать... Это что ж за зверь, может, объяснить изволите? Мы люди простые, темные, университетов не кончали...

На этот раз Лёра действительно «не снизошла». Десятки язвительных ответов вертелись на кончике языка, но Лёра из последних сил сдерживала себя: нельзя же опускаться до унижительной перебранки с первобытным человеком! Кроме того, начини она на него «наезжать» – он «актриской» уже не ограничится, Лёра ответит тем же, и неизвестно еще, чем все это закончится... Ее слегка отпустило. «Уже, наверное, три часа осталось, не четыре...».

Гастроли закончились в небольшом поселке. Здесь выступали три вечера подряд, потому что билеты были проданы в нескольких деревнях в округе. Посёлок считался своеобразным культурным центром, где имелся клуб – ужасное дощатое сооружение со смехотворным возвышением вместо сцены и рядами скамеек вместо стульев. Во время представления курили, плевали, разговаривали, даже пару раз вспыхивала драка – но задир выставляли выяснять отношения за дверь. Дверь эта все время открывалась и закрывалась, из-за нее несло ноябрьским холодом. Зрители без стеснения бродили туда-сюда, на сцену почти не смотрели, и оставалось только удивляться – зачем они купили билеты и притащились сюда из других деревень. Наверное, решила Лёра, дрожащая в своем вечернем платье за кулисами, это для них повод лишний раз встретиться знакомых и вместе кирнуть, да и вообще – какое-то цветное пятно в черно-белой жизни. Какие тут могут быть развлечения? Лёре сказали, что в семи полувымерших деревнях из одиннадцати вовсе нет электричества, и даже не помнят – было ли когда-нибудь... Всех общественных организаций в поселке имелось три: клуб, обычно запертый, магазин, тоже запертый, потому что в сезон бездорожья продуктов не завезти, да церковь, незапертая, но пустая – никто не ходит. Школа в соседнем селе – пять километров пешком. Ближайшая больница – в другом мифическом райцентре, километров сто «с гаком».

Есть, правда, фельдшер на пункте, но он так пьет, что ему и корову лечить не доверяют... Власти нет вообще никакой. Раз в полгода появляется милиционер, откуда – никто не знает, говорит, что он «участковый» и спрашивает, нет ли на что жалоб. Почту доставляют два раза в месяц, когда есть дорога... Вот и вся цивилизация – и это не где-нибудь, а в пятистах километрах от Москвы...

«Вот это жизнь, вот это я понимаю, – с холодным ужасом подумала тогда Лёра. – А мы там, в Питере, еще на что-то жалуемся...».

Последний «постой» труппы был в брошенной избе, где им затопили русскую печь. Автобус должен был увезти их наутро после третьего представления, в понедельник. Деньги честно поделили и легли спать. Но наутро водителя не оказалось. После упорных поисков его обнаружили в одном из домов – мертвецки пьяного. Не то что посадить его за руль, а и просто разбудить оказалось делом безнадежным. Все, кроме Леры, смирились с мыслью, что ехать придется во вторник.

- Как – во вторник?! – не своим голосом завизжала она. – Я ж... Мне ж... Мне нельзя – во вторник! Я в среду утром кровь из носу должна! Ой, мать честная, что ж делать-то?!!

В который раз все рушилось – и из-за чего! – из-за того, что какой-то мужик напился! В панике Лёра продолжала голосить до тех пор, пока кто-то из сельчан не надоумил: Томка из соседнего дома рожать, вроде, надумала, а Толик, у которого «уазик» есть, ее в Смоленск сегодня повезет, в больницу. С ними Верка поедет, староста церковная. Так и ты, мол, попросись. Толик хоть и жадноватый мужик, но столковаться можно...

«Столковалась» Лёра с Толиком; как – и вспоминать не хотелось. Вот и ехала теперь с поджатыми ногами на переднем сиденье. На заднем расположились Вера и Томка. Случайные попутчицы – что о них думать! А все же думалось – с неприязнью и глухой злобой...

Личность водителя Толика в комментариях не нуждалась, его можно было охарактеризовать одним словом: неандерталец.

Самым сносным человеком выглядела Вера. Она работала учительницей математики в той единственной районной школе, да еще, во славу Божию – старостой в церкви. Кем и чем она там управляла, Лёра догадаться не могла: по словам той же Веры, в двенадцатые праздники собиралось не более двух дюжин прихожан, а в остальные воскресные дни батюшка, сосланный сюда за настоящую или мнимую провинность, служил часто и вовсе

в одиночестве, а Вера пела на клиросе. Сейчас она ехала в Смоленск, чтобы пополнить запасы масла, свечей и ладана и выполнить прочие неотложные задания священника.

Всё бы ничего, и вполне снесла бы ее непосредственное соседство Лёра, если бы Вера не принадлежала к той не особо многочисленной, но характерной категории верующих, которая может и жалкие единицы тянущихся к церкви людей от нее навсегда оттолкнуть.

Для таких верующих, особенно женщин, понятие о том, каким должен быть настоящий христианин, непоколебимо и навсегда определён. В их головах создан портрет знаменитого «типичного представителя», и тот, кто ему не соответствует, по мнению подобных женщин, может называть себя христианином лишь по недоразумению. Портрет мужчины-христианина еще варьируется – лишь бы был с бородой. Что же до женщины, то для нее первая обязанность – до неузнаваемости изуродовать себя, дабы не ввести кого в соблазн плоти. Поэтому она обязана носить в любую погоду платок до бровей (всем известно, что хитрый враг притаился именно в женских волосах), причем, чем страшнее платок – тем лучше, мышинового цвета платье до пят и запястий, толстые чулки и стоптанные туфли без каблука – чем старей, тем богоугодней. Единственное украшение христианки (и это уже баловство, не всегда одобряемое) – серебряное кольцо с сокращенной Иисусовой молитвой, а замужняя женщина может позволить себе еще и такую роскошь, как обручальное. Для чтения такой женщине, кроме Евангелия и Псалтири, возможны только брошюры нравоучительного содержания («Как принимать гостей», «Как стать кроткой голубкой», «Как приучить себя к посту»), а также всевозможные перечни грехов, где сурово осуждаются такие тяжкие поступки, как езда на велосипеде и употребление других средств гигиены, кроме банного мыла. Отсюда и следствие: обходясь по утрам этим самым мылом, а в бане моясь раз в неделю, эти богоугодные женщины благоухают застарелым потом, отчего общение с ними еще более затрудняется. На все вопросы наивных «нецерковных» у таких прихожанок имеются готовые ответы, словно вышедшие из-под одного клише: «все хорошо – благодать, плохо – попущение, непонятно что – искушение». Главное, что возразить на это нечего: ведь действительно так: благодать, попущение, искушение... У них постоянно на устах два слова: «Спаси, Господи». Этими словами они орудуют то как щитом, то как дубиной – смотря по обстоятельствам. Голос у них сладкий, но в меру, глаза вроде бы опущены, но нет-нет – да и вскинутся, и прочесть там можно что угодно. Иногда так и кажется, что, желая тебе устами вечного спасения, внутренним оком они видят тебя в геенне: мол, я-то пожелаю, не жалко, да ты-то все равно не спасешься. Это именно таких женщин Розанов в свое время окрестил «Марфушками», искренне считая, что если б только они остались в мире – то лучше б миру быть борделем.

И это бы ничего. Но, когда человеку действительно все равно, например, как выглядеть, то он просто не бросается другим в глаза. Но «Марфушки» выделяются в толпе очень ярко, они словно так и ждут вокруг себя смятенного шепота: «Смотрите – христианка... Христианка идет...», жаждают себе за свое христианство поношения и мнят, что исполняют таким образом девятую заповедь блаженства.

Лицемерие, которое тем страшнее, что несчастные сами его не осознают, служит еще большим соблазном для окружающих, чем гуляние в мини-юбке, которым давно уже никого не удивишь. Любой нормальный мужчина, у которого молодая жена всё порывается в церковь, взглянув на «Марфушку», в ужасе подумает: «Чтоб и моя такая же стала?! Да лучше повеситься! Да я ее цепью к стулу прикручу, чтоб к церкви не прибилась!!». По счастью, не так много «марфуш», но и те, что есть, служат достаточным искушением и достаточно дискредитируют своим видом и поведением всех верующих женщин.

Все сказанное в полной мере относилось и к Вере, Лёриной попугачице. Особенно злила Лёру мнимо кроткая, а на самом деле гипертрофированно высокомерная манера Веры держать себя, застенчиво-порочные опущенные долу глаза и бурый платок, именовавшийся когда-то оренбургским. Теперь он больше напоминал половую тряпку и был безобразно намотан молодой женщиной на голову. Вместо пальто служил неопределенного цвета «полуперденчик», из-под которого струилась черная суконная

юбка, ниспадавшая на невозможного вида боты сорокового размера, притом, что миниатюрная Вера вряд ли могла иметь номер больше 37-го. И это можно было вынести, объяснив все ужасающей бедностью. Но Вера все-таки работала учительницей, получала небольшую зарплату, вдобавок, у нее имелся садик-огородик и даже какая-то скотинка, да и жила она одна, по словам соседней, рано овдовев. Стало быть, купить себе недорогие и скромные сапоги, пальтецо и шапку Вера вполне была в состоянии, а ее наряд являлся попросту чем-то вроде сценического костюма. Уж в этом-то Лёра разбиралась! Вера оделась в самый настоящий костюм богомолки – в такой именно, в какие сама Лёра, случалось, наряжала своих актрис. Она «косила под христианку», а кем была на самом деле – того Лёре знать пока было не дано.

Вера отталкивала всем: красивым лицом, напрочь испорченным постным выражением (что тоже входит в кодекс «типичного представителя»), до мяса обрезанными ноготками – при взгляде на них у Лёры начинали зудеть концы собственных пальцев, преувеличенно-скромной, чуть ссутуленной позой («Я тут, на уголочке, с краешку...»).

Вера раздражала даже больше, чем другая пассажирка – беременная на девятом месяце Тома. Ее жизнь Лёра могла наблюдать уже три дня: Томин дом находился через забор – гнилой и обвалившийся в семи местах – от дома, где приютились гастролеры. У четы Сомряковых имелось пятеро детей – четыре мальчика от семи до тринадцати и девочка лет пяти. Супруги – оба пропойцы, а дети – все дебилы и малолетние преступники. Не поворачивался язык сказать про них, вместе взятых, «семья»; это было какая-то противоестественная стая грязных животных. Со двора Сомряковых все время доносился пьяный гогот, недвусмысленный визг, вопиющий мат, а иногда звуки и вовсе не напоминали человеческие – нечто вроде завывания и уханья («Холмс, неужели это воет собака Баскервилей? – Элементарно, Ватсон: это сэра Генри кормят овсянкой».)

Мальчишки, похоже, пили наравне с родителями, а курили все, почти не переставая. Собственно, они уже не напоминали детей, а скорей, злобных серых гномов без возраста. Эти гномы разговаривали хриплыми голосами, матерились так естественно, что даже не понимали, что сквернословят, по их лицам вечно были размазаны грязь и сопли, они садистически мучили любых животных – в поселке рассказывали, что даже мыши и крысы бежали из сомряковского дома. Полуудушенную и в страшных ожогах от папирос кошку не далее как вчера супруги-мимы сняли с соседского забора; даже общими усилиями спасти ее не удалось...

Что касается девочки, то в пять лет она еще не говорила, а лишь пускала слюни и тянула бесконечное «Гы-ы...», идиотически закатывая бессмысленные глаза. С огромной водянистой головой и животом-арбузом, на тонких рахитичных ножках в драных колготках, эта девочка Таня представляла собой поистине кошмарное зрелище...

Нужно ли говорить, что отцу с матерью (и кощунственно звучали применительно к ним эти слова) не было никакого дела до отпрысков. Когда они не гнали самогон, то пили, а когда не пили, то гнали самогон. Покупатели-собутыльники, кстати, несмотря ни на что, находились регулярно.

Сегодня утром, правда, произошло редчайшее событие: по случаю своей отправки в роддом, Тома с утра была трезва и топила баньку. В баньке она вымыла всех своих детей – но чище они не стали и похожесть на детей не обрели: грязь уже впиталась в их кожу настолько, что лица приобрели навеки сероватый оттенок, стереть который не может ничто и никогда. Свежепомытые дети выглядели еще страшней, чем раньше: просто чумазый ребенок, в общем, естественное явление – подумаешь, отмоется – ребенок же грязный навсегда, наводит на мысль о скверности человеческого рода в целом...

Тома и сама помылась, но одежду сменить не озаботилась. Теперь в машине от ее невозможных тряпок, определить первоначальное название коих уже не представлялось возможности, разносился такой одуряющий смрад, что Лёре казалось: несет мертвечиной. «Доктор в приемном отделении роддома еще не знает, какое ему сегодня счастье привалит», – злобно думала она.

Тома ехала в радостном, приподнятом настроении, благодушная после баньки. Сегодня она только раз остаканилась, поэтому на душе у нее было мирно, и выпадов

собутыльника-Толика против «актриски» она не поддерживала, а даже втайне ее жалела: вот ведь человек, занимается дурью какой-то – на что жизнь тратит?

- Да ладно, Лёра, не обращай ты на дурака внимания, – дружески посоветовала Тома, видя, что «актриска» уж совсем не в своей тарелке. – Или вот что – выпить хочешь? У меня тут припасено...

- Давай! – неожиданно для себя согласилась Лёра.

- Да?! – обрадовалась Тома. – Это я щас, это у меня туточки...

У изумленного Толика дрогнули руки на руле, и машина вильнула.

- А тебе не положено, – строго глянула на него Тома. – Ты знай себе рули...

Повозившись в ногах, она извлекла пол-литра мутной жидкости и прокомментировала:

- Как слеза! Из горла будешь, или налить есть куда?

- Дай сюда.

У Лёры в сумке имелся замечательный складной стаканчик для кофе. Она с опаской наполнила его до половины и вернула бутылку Томе. Глянула на стаканчик с последним сомнением: эх, была не была, может, хоть теплее станет. Она выдохнула по всем правилам и быстро опрокинула «слезу». В нос ей шибануло сивухой, градусов оказалось около пятидесяти – в самый раз по такой погоде. Проглотив, стала медленно вдыхать через нос – не занюхивать же рукавом, в самом-то деле! Тут у ее плеча оказался соленый огурец, участливо протянутый Томой.

- Уж закуси, чего там. Со знакомством.

(«Руки у нее мыты как раз сегодня – можно взять».)

- Благодарствуй, – («В какой пьесе я встречала это слово? У Чехова, что ли?»)

Лёра бодро хрустнула огурцом, по телу разливалось благо-датное тепло.

- Может, еще одну примешь?

(«Мне только не хватало попасть в список ее собутыльников».)

- Спасибо, достаточно, согрелась.

Лёра обернулась на Тому в порыве настоящей благодарности: с этой минуты все действительно перестало выглядеть таким удручающим, да и к атмосфере она как-то принялась – может, сивухой перебило? Почти дружелюбно она взглянула на Тому, и ее покорило вновь: у Тома практически не было лица! У мужчин алкоголизм чаще всего бросается на нос, у женщин же страдает все лицо. Так и у Тома вместо него имелась бесформенная, бугристая, малиновая масса с отверстиями для щербатого рта, носа и заплывших глазок, под каждым из которых потухало, переливаясь всеми цветами радуги, по «фонарю». Рассказывали, что ее регулярно мутузил благоверный, и не просто так, а из ревности, причем вовсе не безосновательной! Лёра перевела глаза на Томин живот, и остатки дружелюбия вмиг испарились: эта утратившая человеческий облик самка едет производить на свет еще одного ублюдка вдобавок к уже имеющимся пяти. Его ждет та же судьба, что и сестру с братьями, а, возможно, и хуже – ведь этот должен быть и вовсе уродом! Но все ее дети, никому не нужные дети, смерть любого из которых стала бы для родителей лишним поводом перепиться на «поминках» – эти дети растут, как осока, им ничего не делается... И вырастут, и станут преступниками, и проведут полжизни по колониям, и ничего, кроме вреда, от них не увидят окружающие – а ее, Лёрин, ребенок, единственный, который рос бы любимым, в заботе и холе – он умер, не родившись, и у нее никогда, никогда не будет больше детей! С откровенной ненавистью Лёра резко отвернулась от Тома. Но та, не уловив перемены, добродушно сказала ей в затылок:

- А то, если что – ты скажи. У меня много.

Из другого угла донеслось сладкое:

- Спаси тебя Господи!

\* \* \*

Когда Лёре было девятнадцать лет, в турпоходе с однокурсниками ей случилось студеным сентябрьским днем провалиться по пояс в болото. Сменить одежду удалось лишь часа через три, а ночью она уже каталась по палатке от боли. Только на вторые

сутки Лёра оказалась в больнице, начав к тому времени бредить, так как температура перевалила за сорок. Антибиотики через неделю поставили ее на ноги, но при выписке заведением зачем-то вызвал Лёру к себе в кабинет. Лёра присела у стола – здоровая, радостная, предвкушавшая выход из больничных, в те времена еще похожих на тюремные, стен. Но старый доктор отбивал пальцами по столу неизвестную мелодию и смотрел мимо. Наконец, заговорил, почему-то смущенно называя ее «юная леди»:

- Новости у меня для вас, юная леди, не могу сказать, чтобы очень приятные... Да-с, совсем, можно сказать, неприятные новости... Спайки у вас, юная леди, сплошные, можно сказать, спайки...

- Спайки? А что это?! – испугалась Лёра, вспомнив сразу подпольный «Раковый корпус», где рак для отвода глаз больного называли «полипами». – Это – опасно?

- Да как вам объяснить, юная леди, как объяснить... – тянул свою резину врач. – Это, можно сказать, рубцовый процесс... После обширного воспаления, да-с... В обеих трубах, юная леди... Для вас, можно сказать, никакой опасности. В некоторых случаях, да-с, очень даже желательно, сами понимаете... – он двусмысленно хмыкнул, но Лёра все равно «сама не понимала». – Но не всегда, юная леди, потому что труб у вас, можно сказать, нет, а вместо них – одни рубцы, да-с... А значит, юная леди, беременности у вас в принципе быть не может.

В девятнадцать лет люди еще, как правило, не понимают, что такое сообщение – собственно, катастрофа. Поэтому Лёра только спросила:

- А эти... спайки... Они не могут – ну, рассосаться со временем?

- Ну, юная леди, это вопрос сложный... Все может быть. Во врачебной практике еще и не такое, можно сказать, случалось... Ну, совсем не рассосутся, но постепенно может возникнуть проходимость, да-с... Но тут, юная леди, другая, можно сказать, проблема... При такой неполной проходимости всегда имеется вероятность внематочной беременности, да-с. А это уже чревато, можно сказать... В любом случае, я вам рекомендую раз в год рентген, да-с...

«Рассосалось» через десять лет, и именно тогда, когда Лёрин муж, с которым до того они восемь лет прожили душа в душу, встретил другую, молодую женщину и уходил к ней. Как раз в те дни Лёра, давно свыкшаяся со своим бесплодием, с ужасом обнаружила у себя трехмесячную беременность.

Когда женщина уходит по тем или иным причинам от мужчины (если он, конечно, не мучитель-тиран-алкоголик), то, к какому бы сияющему счастью она ни летела, покинутый для нее – все равно вечная незаживающая рана. И посреди любых новообретенных восторгов вечно цепляет, отравляя все сущее, заноза: «Что я с ним сделала! Как он там без меня?! Что с ним теперь станет! Я-то счастлива, а он...». К слову сказать, чаще всего несчастный в это время во всю утешается либо бутылкой, либо подружкой – кто во что горазд.

Совсем не то многие мужчины. Бросаемая женщина для них чаще всего – лишь объект раздражения. Самим своим существованием на земле надоевшая женщина вызывает у разлюбившего мужчины ослепительный гнев: «И чего я нашел тогда в этой крысе (свинье, корове)! Чтоб ей лопнуть!». В лучшем случае, она становится словно неживым препятствием, как бревно на дороге: только бы его сдвинуть, а кого интересует, что оно при этом чувствует! Если женщина – мать детей, то мужчина может чувствовать себя перед ней атавистически виноватым, как перед Матерью вообще, но почти никогда – как перед страдающей женщиной: сама виновата, была плохой женой. Хороших не бросают. Кстати, редкая женщина в этом признается, но трудно представить для нее большее оскорбление, чем заявить: «Я люблю тебя как мать своих детей». Лёра сама была свидетельницей однажды, как блудный муж, возвратившись к жене после очередного левого похода, ласково сказал ей в порядке утешения такую фразу. Жена, до того все уже простившая, да и вообще от природы милая и скромная женщина, при этих словах вдруг под-скочила и завопила голосом рыночной торговки: «Что-оо?! Ах ты, сво-лочь та-ка-я!!! Во-он!!!».

В той семье имелись, конечно, для такой реакции объективные предпосылки. В основном, женщины все-таки терпеливо глотают подобное оскорбление, потому что

семью нужно сохранять – из-за детей же, или из-за нравственного долга, чаще – из страха одиночества. Но, если женщина еще не утратила к мужу интерес как к мужчине, – пусть он знает, что, брякнув такое, нанес жене ничем не смываемую, неслыханную обиду.

Так и Лёра прекрасно понимала, что муж бросил ее вовсе не из-за отсутствия детей или желания найти «мать своим детям», а просто потому, что ему надоела она, Лёра, как женщина, и он попросту захотел другую, как женщину же. И вот, понимая все это, вопреки собственной логике, Лёра бросилась отстаивать семью, апеллируя именно к своей беременности.

- Я – десять лет!.. Десять лет!.. – заходясь в истерике, визжала она. – Десять лет ни на что не надеялась! И вот теперь, когда я, я... – икота уже не давала ей говорить, – жду ребенка... Ты уходишь к другой!

Даже в своем слепом отчаянье она понимала, что ее Косте все равно, от кого иметь детей, но он попросту хочет спать не с ней, а с другой, а родятся ли от этого дети – его сейчас не волнует. Более того, теперь он весь – там, с той, а Лёрина первая в жизни истерика, вызванная первым настоящим горем, для него – не более, чем досадный раздражающий звук – и поскорей бы его как-нибудь прекратить...

- Ну, ты не очень-то рвалась иметь детей, прямо скажем. И по профессорам не бегала. Тебя десять лет устраивало. Да и какая ты, собственно, мать? Что у тебя, кроме театра, в голове? Ребенок тебе только помеха – сама знаешь, и не горишь ты желанием его родить. Чтоб меня вернуть – вот зачем этот спектакль. Актриса ты классная – тут ничего не скажешь, я всегда так думал. Так что сцену эту эффектную ты кончай, я тебя насквозь вижу. Между прочим, ребенком мужчину не удержишь, так что эту стратегию ты напрасно выбрала...

К тому времени Лёра уже опухла от слез, кризис истерики перевалил, и она, опустошенная, содрогаясь от остаточных рыданий, полулежала в кресле и могла только всхлипнуть:

- Что ты говоришь! Как язык у тебя поворачивается!!

Лёра видела, что все пропало, что борьба бесполезна и, главное, не нужна: даже если б ей каким-либо чудом и удалось остановить Костю, то прежнее все равно перечеркнуто, и тот Костя, что вернется к ней в этом случае, будет уже совсем другим и, строго говоря, она с таким Костей жить не хочет... Что толкало ее, не давало остановиться и сказать: «Да скатертью дорога!»? Уж, во всяком случае, не любовь и не ребенок... И, уже не зная зачем, она продолжала кричать, позабыв, что отвратительней бьющейся в истерике разлюбленной женщины для мужчины мало что найдется...

- Ну, успокоилась, наконец? – взвинчено спросил Костя, когда Лёра в очередной раз стала затихать. – Проблемы твои решаются просто: с абортами сейчас легко, делают чуть не до шести месяцев, так что истерики не закатывай. А что касается наших отношений, тут уж ничего не поделаешь, извини уж...

- Что ты сказал?! – встрепенулась Лёра. – После десяти лет бесплодия я должна сделать аборт, потому... потому что тебе... приглянулась другая женщина? Ты сам-то соображаешь, что говоришь? Да этому вообще названья нет!

- Это не нам с Леной, а тебе прежде всего создает трудности, дура ты, – спокойно ответил супруг.

Лёра медленно встала на ноги. Теперь она была одержима не желанием вернуть его – на фиг такая сволочь – просто нарушить покой и самоуверенность.

- Ах, так... – процедила она. – Так, значит... Трудности, значит... Хорошо же... Я тебе создам трудности... Какие тебе и не снились... Ты закон об охране материнства и детства читал? Ах, не читал – так прочти... Там черным по белому написано: во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка муж не имеет права подавать на развод... А там я тебя еще полгода промурыжу: разведут на третьем заседании... Так что ты раньше чем через три года новую свадьбу сыграть не надейся... И то, если невеста дождется... Я тебе покажу кузькину мать... Хочешь кровь мою пить – пей, но и я твоей поживлюсь, будь уверен...

Прошипев все это, Лёра сумела гордо удалиться в гостиную, хлопнув дверью. Уже через десять минут она услышала, как Костя облегченно насвистывает под скрип дверцы платяного шкафа: он явно переодевался. Спустя четверть часа хлопнула входная дверь...

Увы, Лёра не нашла в себе твердости выстоять до конца. На третий день она дошла до такого состояния, что перестала соображать, что и с какой целью делает. И вот, проклиная себя за слабость, она сама поехала на квартиру к сопернице, где они теперь окопались вдвоем с Костей...

Лёра сознавала, на какое унижение идет, но не могла сопротивляться: знала, как нужно и можно делать, а делала наоборот, отчего страдала еще больше.

Костя как-то обмолвился, что его новая избранница – красавица, и Лёра, на миг забыв даже о своем горе, изумилась, увидав на пороге более чем заурядную девушку лет двадцати трех. Совершенно простенькое рыльце со вздернутым носиком, губки бантиком, блестящие глазки, казавшиеся большими лишь от непомерно длинных «стрелок» – а так едва ли не пороссячи... Только молодость играла на ее лице свою вечную призывную роль: лет через десять девушка неизбежно превратится в «тетку» и разделит Лёрину судьбу.

Лёра хотела поговорить с ней по-женски, по-человечески, дать почувствовать, что разбивать семью, уводить мужа от беременной жены – преступление, спросить, как она думает строить свой дом на обломках чужого, заставить, возможно, хотя бы задуматься...

Но Леночка особенно ее и не слушала, а вдруг сама заговорила – да еще тоном старшей, с нравоучительными интонациями...

- Я не понимаю, Лёра... – («Господи, да какая я ей Лёра!» – ахнула про себя та.) – Чего вы, собственно, добиваетесь? Если вы еще не поняли, так поймите: ваш бывший муж любит меня, а не вас – так уж случилось. И притязания ваши бесполезны и унижительны. Что до беременности – то это неприятно, конечно, что так некстати, но в наше время этот вопрос, к счастью, решается просто. И рекомендую вам все обдумать поскорее – нас вы все равно не разлучите. Мне, например, совершенно неинтересен штамп в паспорте, а себе вы нервы вконец истреплете. А нам это все, извините, до лампочки. Так что, если вы рассчитывали нам этим досадить, то забудьте: не на таких нарвались. И, собственно... Вас сюда никто не приглашал.

Дальше произошло то, за что Лёра корила себя уже три года: она вдруг, ни слова не говоря, подскочила к Леночке, схватила ее за очень пригодные для такой цели волосы и, пока та не успела опомниться, со всех сил ударила ее головой о стенку. Руки у проклятой разлучницы остались свободными, но, вместо того, чтобы попытаться отодрать Лёрины пальцы от своей головы, она, не растерявшись, рассчитанным движением со всей силы ударила Леру кулаком в живот.

«Да ведь это же – мразь! Конченный человек!» – поняла Лёра и, отпустив голову соперницы, стала бить ее наотмашь по лицу с обеих сторон. Странная для женщины вещь: Лена лица не защищала. Вероятно, быстро решив, что все равно заживет, она, пока была возможность, стремилась расправиться с тем, что стояло у нее на пути и, не поднимая рук, все била и била Лёру по животу. Лёра в запале не чувствовала боли, у нее имелась своя цель – изуродовать навсегда, чтоб гадюка посмотрела, куда денется неземная любовь симпатичного Котика, когда мордашка окажется на затылке. Женщины дрались в полном молчании – даже дыхание у обеих перехватило. Поэтому Костя, решивший было отсидеться в комнате, далеко не сразу догадался, что в передней «между бабами» дошло до рук. Когда ему, наконец, почудилось что-то, женщины успели уже так изрядно друг друга потрепать, что он первым нарушил молчание, издав что-то вроде воя. Так и продолжая странно подвывать, словно лишился языка. Костя и разнимал жену с любовницей – а те упорно молчали, лишь иногда тихо шипя, и, уже было распиханные по разным углам, всё порывались опять вцепиться друг другу в глотку, на сей раз не на шутку, а до смерти...

Лёра была почти без сознания, когда оказалась на лестнице: она даже не помнила – сама ли вышла или ее выкинули. У нее вообще произошло что-то вроде провала в памяти. То есть, она знала, что именно совершилось, но как это могло случиться и каким образом происходило – того решительно не могла вспомнить... В полном окаменении, утратив все

пять естественных чувств, она интуитивно добралась до дома и в куртке рухнула на диван. Никого не было рядом, чтобы вызвать «скорую», сама же Лёра не могла бы теперь и стакана воды себе налить... Наутро началось прорывное кровотечение.

И вот только сейчас Лёра, до того ни разу не ощутив себя будущей матерью, а лишь зная, что у нее «беременность», испытала панический ужас. Она не думала о ребенке как таковом до той секунды, когда поняла, что теряет его. Раньше она орудовала имеющимся фактом в своих целях: сперва – вернуть мужа, потом – отомстить ему и сопернице. Но в страшный миг, когда она увидела, что покрывало под ней быстро пропитывается кровью, ей стала совершенно безразлична собственная участь, и важным оказалось только одно: спасти своего ребенка – любой ценой.

- Господи! – вскричала она. – Я все им прощаю, все! Пусть живут долго и счастливо! Я завтра же дам развод – и пусть будет, как они хотят! Неважно! Мне ничего не важно, Господи! Только останови это! Останови!!!

Простонав эту наивную молитву, Лёра поползла к телефону. Она еще сообразила, что нельзя звонить по «03»: заберут, отвезут куда попало – там не спросят. Трясущимися руками полистав книжку, нашла рабочий телефон знакомого врача. Она сумела все более или менее толково объяснить ему, потом даже вызвала такси и села в него... Сознание начала терять только в приемном покое на руках у врача – успев шепнуть: «Спаси его... Умоляю...» – и услышать: «Какое там «его»... Тебя спасти надо...».

Лёра дала Косте развод, не сопротивляясь более, – без суда, в Загсе, а оттуда пошла прямо в церковь. Священник оказался стареньким, на вид добрым, разговаривал с прихожанами все шутками-прибаутками, Лёра уже приготовила, что расскажет ему. Он, конечно, посочувствует, утешит, накроет ласково голову епитрахилью...

- Ребенка я потеряла, батюшка... А муж меня бросил, к другой ушел...

- Хм, ушел, говоришь? – засмеялся батюшка. – А чегой-то он ушел, а? Может, жена ему была нужна скромная, а ты вон как разряжена да надушена – прям актриса!

- А я и есть актриса... – растерялась Лёра.

- Ак-три-са? Мельпомене, стало быть, служишь? – весело спросил священник.

- Я в театре играю, – сухо ответила Лёра.

- Мельпомене, Мельпомене – муза такая, слыхала? Вот служила б мужу, а не Мельпомене – поди, не ушел бы, – продолжал веселиться он.

Лёра вспыхнула и ответила еле сдерживаясь:

- Я... Меня его любовница избила... Сделала мне выкидыш специально... А он все равно на ней скоро женится... Мне жить тошно... Я в церковь пришла... Я думала...

- А ты б молилась, а не думала: умишко-то у жен комариный, – отрезал батюшка. – Думать муж должен. Знаешь, что Богу и мамоне вместе служить нельзя? Знаешь, а? Так вот – Богу и Мельпомене – тоже, – его, определенно, заклинило на этой несчастной Мельпомене. – Так что ты сначала выбери, кому служить хочешь. И, коли Бога выберешь, тогда и приходи... Расскажешь про мужа-то... Иди-иди. Чего стоишь-то? Люди вон ждут... – и он спокойно отодвинул Лёру рукой в сторону.

Она еще постояла рядом до конца короткой исповеди: кроме нее не оказалось ни одного человека, над которым священник не прочел бы разрешительной молитвы...

Тогда Лёра стала ходить на общую исповедь в большой собор – боялась опять нарваться. Она стала поститься, раз в пост говела. Не сказать, чтоб это сильно облегчало душу, но «человек – это такая сволочь, которая ко всему привыкает».

Привыкла и Лёра к тому, что у нее больше нет мужа, и уж точно никогда не будет детей – вот только сыграть бы теперь Роль – а там будь, что будет...

\* \* \*

При мысли о Роли Лёра невольно улыбнулась: ей даже практически не пришлось учить текст – настолько хорошо она знала оригинал. Не может Оля Котова вложить в исполнение роли Цветаевой столько, сколько вложит Лёра. Любовь Максимовна, хоть и крокодил хищный – а профессионал. И пусть Оленька забирает на здоровье то, чего

добивалась – «Марлен» со всеми потрохами – тоже, сокровище... Вот уж поистине – не было б счастья, да несчастье помогло!

Лёра посмотрела на Толика. После того, как она невольно продемонстрировала, что ничто человеческое и ей не чуждо, не побрезговав Томиным угощением, он оставил свои подколы и косился на пассажирку даже с некоторым интересом. Очевидно, она как-то выпала из его представления о такого сорта людях, и теперь он натужно решал, как к ней дальше относиться. Лёра поддержала его мыслительный процесс:

- Скажите, Толя, сколько мы уже проехали, примерно?

- Да кто его знает? – охотно отозвался он. – За сотню километров точно отмахали.

Машину подкинуло. Лёра пожала плечами:

- Дорога-то не очень... А что, другой совсем нет?

- Не-а... Была одна, старая, но теперь по ней уж совсем не проехать.

- Старая?! – удивилась Лёра. - А эта что же – новая?!

- Ну. После войны прорубили. А до – леса тут непролазные стояли. Да ты... вы не волнуйтесь очень-то... Последние километров пятнадцать по шоссе поедем до Смоленска.

- Пятнадцать! - присвистнула Лёра. – А до этого полтора – таким макаром!

- Что поделаешь, мы тут привычные, – вдруг ответила из своего угла до тех пор молчавшая Вера.

Лёру явно перестали воспринимать чужаком – это если не радовало, то, по крайней мере, скрашивало путь. Она пошевелила ногами. Верней, попробовала пошевелить, но это не удалось. А что, если... Почему бы и нет – что она теряет?

- Послушайте, Вера, как у вас насчет любви к ближнему?

- Господь велел всех любить, – донесся сзади голос, сразу ставший елейным.

- А меня любите?

- И вас люблю.

- Актрису?

- Актрису.

- Докажите! – на Лёру вдруг нашла волна дерзкого подросткового озорства.

- Как? – опешила Вера.

- А поменяйтесь со мной местами. Тут у меня мешок Толиков на ногах. И я так два часа еду – сил моих нет больше. На часик сядьте вперед, правда. Пусть у меня хоть кровообращение на время восстановится!

Вера молчала. Лёра разозлилась ужасно: вот они, Марфушки! Как, если придется, за Христа умирать будут, когда для ближнего зад не поднять?!

Ей захотелось побольней укусить Веру, и она ни на секунду не задумалась:

- Что, на арену к голодному льву – хоть сейчас, а мешок на ноги – не того уровня подвиг?

На сей раз «не снизошла» Вера.

- А если я Христа ради попрошу? – не унималась Лёра. – Вдруг это Он моими устами сейчас говорит – откуда вы знаете?

Веру, очевидно, проняло.

-Толик, останови машину, – почти что процедила она.

Толик затормозил и, обернувшись, стал с интересом ожидать развязки. Лёра невозмутимо вытащила ноги из-под сумки, свесив их наружу. Сразу она ощутила, как словно тысячи иголок начали со всех сторон покалывать ее ноги: вероятно, кровообращение нарушилось даже больше, чем предполагала Лёра – в самый раз пересесть. Она кое-как поковыляла к задней дверце, откуда выбиралась надутая Вера.

- Спаси вас Господи, – очень удачно подражая ее тону, сказала Лёра, на что Вера недвусмысленно сверкнула из-под платка посветлевшими от возмущения прозрачными глазами.

Расположившись на заднем сиденье рядом с Томой, Лёра первым делом достала флакон духов, смочила ими носовой платок и поместила его под шарф у подбородка: в непосредственной близости к Томе это было единственным спасением. Сама же Тома давно безмятежно спала, привалившись к другой дверце и равномерно похрапывая. Никакие толчки и прыжки машины, разговоры и остановки не в силах были теперь

разбудить эту зловонную бегемотиху... Лёра отвернулась от нее, почти что вытянув оживавшие ноги.

Зато Вера, оказавшись теперь в неудобном поджатом положении, искала выхода своему пару. Как бы между прочим, она бросила через плечо:

- А что это вы, Лёра, вдруг о Боге заговорили? Вы Его такими разговорами искушаете. Нельзя спекулировать именем Спасителя в своих целях...

- Я хотела дать ногам отойти – вот и всё, – огрызнулась Лёра. – А вы ко мне милосердие проявить соизволили только когда я вас за живое задела.

- Так о милосердии не просят, – нравоучительно ответила Вера. – Просят со смирением, а вы надо мной издевались.

- Если бы я вас просила со смирением, то к Смоленску обезножела бы.

Толик хмыкнул, и в его хмыке прозвучало так же ясно, как если бы он сказал словами: «Ну, завелось бабье!».

- А вам вообще стыдно о Боге говорить, вы неверующая, – продолжала Вера.

Лёра начала медленно заводиться и сама не заметила, как в ее голосе зазвучали вздорные и стервозные нотки простолюдники:

- Да-а?! Да кто ж вам сказал? Или вы такая прозорливица, что всех насквозь видите?

- Видеть не вижу, а знаю. Потому что вся эта ваша «творческая интеллигенция» – от Бога дальше всех, дальше даже, чем, вон, Тома... И грех один есть такой, я сама читала в книжке: «Восхищался писателями и артистами, не понимая, что они богоотступники...».

Лёра задохнулась от возмущения. Особенно оскорбило ее сравнение с Томой, да еще в Томину пользу. Она почувствовала, что, если не возьмет себя немедленно в руки, то перепалка их превратится попросту в кухонную ругань. Разумней было промолчать, но она все-таки не сдержалась:

- Вам-то откуда знать? У вас что, много таких знакомых? А я знаю, и вот что вам расскажу. Есть у меня знакомый один, художник. Верующий и причащается каждую неделю, когда картину пишет – так и в мясоед постится, и духовник у него иеромонах. Дал этот художник такой обет: как где увидит икону святого Андрея Рублева – так сто земных поклонов перед этой иконой положить: почитает он Андрея Рублева очень. Ну, и всегда в церквях гладко все сходило, а раз казус вышел. Открылась как-то художественная выставка, а в ней – отдел современной иконописи. Отдел священник освятил. И как только освятил, подошел наш Леша (так его зовут) – и ну перед Рублевым поклоны класть. Наша, русская публика молчит, расступилась, смотрит, что выйдет. А тут как раз дверь открывается, и входит иностранная делегация. Фрицы было к иконам – не пройти: Леша мешает. Они ему по-своему что-то «бум-бум», а он на них и не смотрит – знай себе кувыркается. Что началось! Они и гогочут, и пальцами в него тычут, и скачут даже вокруг. Не понимают, что происходит-то. А Леша перекрестится – и опять лбом об пол. Пока свою сотню не добил – ни на кого и не глянул. А закончил – и вышел, тихо так. Ну, что вы на это скажете?

- Скажу, что он Православие на поругание выставил, – твердо ответила Вера.

- Ну, знаете! А может, поношение Христа ради стерпел? У него ведь обет был – перед каждой иконой. Вот и не нарушил, а дураки пусть ржут.

- Нечего было на выставке это делать. Не церковь.

- Да, но икона-то везде икона!.. – вновь теряясь перед Вериной твердокаменностью, повысила голос Лёра. – Так мы с вами ни о чем не договоримся!

- Тормози, дурак!!! – вдруг раздался из левого угла рев позабытой всеми невесть как проснувшейся Тома.

Никто не успел ничего понять. Лёра заметила только тень большого животного, мелькнувшего на дороге, и услышала чье-то сдавленное: «Лось...», а потом машина, не успев тормознуть, слишком круто вильнула, взлетела на холмик, секунду балансировала на двух колесах – и повалилась набок, но подвернулась, очевидно, рывтина – и «уазик» тяжело рухнул на крышу...

Испугаться у Лёры не хватило времени, но она инстинктивно закрыла голову руками, и даже в миг страшного кувырка в ней мелькнула мысль: «Господи! В театр не успею!!!» – но не пришло в голову, что она, возможно, погибает...

Когда Лёра решилась, наконец, открыть глаза, то обнаружи-ла, что кто-то трясет ее за плечо. То есть, она уже давно чувствовала, что трясут, но, оглушенная, не обращала на это внимания. Теперь выяснилось, что трясет ее Тома, трясет и гундосит: «Лёрка, а. Лёрка...» – и обе они, скрюченные, вверх тормашками помещаются в невообразимо тесном пространстве.

- Кости-то целы у тебя? – деловито спросила Тома; Лёра отметила про себя, что целостность Томиных костей ее совершенно не волнует.

Она пошевелилась, рядом захрустело.

- Бутыль!!! – с неподдельным ужасом простонала Тома.

- Кретинка, – впервые откровенно выразила свое отношение Лёра.

Она уже успела убедиться, что ее-то кости, во всяком случае, целы. Нужно было как-то выбираться. Лёра направила правой рукой дверь, со страхом думая, как ее открывать, но дверь непостижимо поддалась после первого прикосновения. Ухая от напряжения, Лёра стала толчками подвигать свое тело вправо, и ей, в конце концов, удалось вывалиться боком на землю. С другой стороны слышалась возня: Тома выгребалась тоже. Помогать Лёра не пошла: сама вылезет, таким ничего не делается. Вместо этого она засунула руку обратно и вытащила свою сумку с деньгами и документами. Она все еще сидела на земле, когда Тома, слегка прихрамывая, но, держась довольно бодро, обогнув машину, приблизилась к ней и нагнулась:

- Вставай, коли ноги не отдало... А ведь подставила ты Верку-то. Крутая подстава вышла, ничего не скажешь...

При этих словах Лёра впервые вспомнила про Веру и Толика. С передних сидений не доносилось ни звука.

«И правда! – ужаснулась Лёра. – Это ж мое место впереди!».

- Давай вставай, – тормошила ее Тома. – Надо посмотреть, как они.

Лёра кое-как поднялась и собрала остатки самообладания:

- Так... Ты иди, займись Толиком, а я посмотрю, что с Верой.

Она нагнулась у правой дверцы; сквозь стекло ничего было не разобрать, и Лёра стала дергать ручку. После пятого-шестого рывка дверь открылась – и сразу послышался слабый стон. Скорчившись, Лёра просунула в дверцу руки и потащила Веру наружу. При первом же движении из машины выкатился пресловутый мешок – тот самый, из-за которого Вера была насильственно пересажена вперед «Христа ради». Лёра остервенело отпихнула его, а потом рывком выволокла Веру на землю. От этого она пришла в себя, тряхнула головой и даже промычала что-то.

- Моя жива! – крикнула Лёра вверх подразумеваемой по ту сторону машины Томе. – У тебя там как?

- Хреновато! – прогудело в ответ. – Кажись, копыта откинул.

Только в этот момент Лёра по-настоящему оценила ситуацию – до того она действовала и произносила слова словно в каком-то тумане, чисто интуитивно. Теперь этот туман вокруг нее как будто разорвался, и сердце на секунду дало явственный перебой.

«Копыта... какие еще копыта... – беспомощно забились в ней обрывки мыслей. – Это ведь значит, что он... умер?».

Ожидая в жизни какой-нибудь гораздо меньшей неприятности – например, посещения дантиста – впечатлительный человек долго тоскует и мается, готовя себя к тому, что по длительности и интенсивности страдания даже не идет ни в какое сравнение с муками, пережитыми *до*. Но когда такой человек совершенно неожиданно, в какие-то секунды, попадает в серьезный переplet (если б знать о таком заранее, то сердце не выдержало бы гораздо раньше), то он часто вообще утрачивает чувство реальности, его сознание затормаживается, и он нескоро обретает способность логически осмысливать события – а уж действовать часто или вообще не начинает, предоставляя это другим, или совершает действия сумбурные, только мешающие делу и окружающим – словом, горе такому несчастному в экстремальной ситуации.

Как раз к числу таких нервно-тревожных людей и принадлежала Лёра. В критических положениях, не грозящих непосредственно ничем по-настоящему ужасным,

она могла принимать решения даже лучше других, поражая всех хладнокровием. Но все это происходило, увы, от глубинного сознания того, что возможная ошибка не кончится катастрофой для нее лично – а до других она имела дела ровно столько, сколько требовалось для соблюдения приличий, чтобы люди не нашли повода подумать о ней дурно. Такая жизненная позиция незаметно развращает сердце, ибо человек привыкает к своей мнимой надежности – а когда действительно запахнет жареным, оказывается вопиюще беспомощным.

У Лёры крупно затряслись и отвратительно похолодели руки. Она хотела что-то еще спросить, но обнаружила, что голос начисто пропал, а дыханье прервалось, словно ей врезали в солнечное сплетение.

- Накрылся, говорю, Толик-то наш медным тазом, – сквозь странный треск в ушах донеслось до Лёры.

Она мучительно попыталась хотя бы сосредоточиться – получилось еще хуже: она чуть не лишилась сознания от напряжения. Но вдруг, сквозь весь хаос и сумятицу сбившихся в кучу мыслей неведомо как пробилась одна: машина дальше не поедет, и она, Лёра, теперь точно не успеет к сроку в Петербург. И как только эта мысль появилась – так сразу, как по команде, мобилизовались и выстроились все остальные.

«Что за чушь, как это – накрылся? – ясно подумала Лёра. – Просто головой долбанулся и отключился. Что там эта дура может понимать!».

Взглянув на Веру и убедившись, что та уже всю шевелится и даже приподнимается, Лёра резко вскочила и бросилась к Томе. Вытащенный Томой на землю Толик лежал на спине. Лёра похолодела: его лицо было белым как кипень.

- Его грудью-то в руль впечатало, – пояснила Тома с земли, где сидела враскорячку. – Руль прям туда и вошел, вот на столько...

- Ясно, – Лёра нагнулась потрогать пульс и, к своему удивлению, обнаружила его – слабый, но равномерный. – Только он жив пока что.

- Точно, – вдруг просипел мертвец. – Жив.

Лёра с Томой вместе упали на колени у тела, наперебой спрашивая:

- Ты нас слышишь?! Где у тебя болит?!

- Везде, – твердо ответил Толик, после чего больше уже не отзывался.

- Тьфу ты, а Верка-то там как? – спохватилась Тома, и они вдвоем, покинув Толика, побежали к ней.

Вера сидела, вытянув ноги и опираясь о землю ладонями.

- Ну?! – почти что рявкнула Лёра.

Ей срочно нужен был кто-то еще трудоспособный, кроме беременной непутевой Томы, правда, она еще не знала, зачем.

- Что – ну? – спокойно сказала Вера. – У меня обе ноги сломаны.

- Во дела! – прогудела Тома.

- Толику меньше повезло, – вместо сочувствия сообщила Лёра. – У него сломана грудная клетка, и он без сознания. Что делать-то будем, женщины?

Лёра еще не до конца поняла, что произошло. Ей казалось – может быть, по аналогии с историями о потерпевших кораблекрушение – что неминуемо кто-то поедет и подберет.

- Ждать, что ли, будем, пока поедет кто-нибудь?

Коротко простонав, не то от боли, не то от безнадежности, ей ответила Вера:

- Лёра, мы по дороге ни одной машины не встретили! И никто нас не обгонял! Как ты сама думаешь – часто здесь ездят или нет?! Самое раннее – это автобус с твоими артистами поедет завтра!

- Н... н-не может быть! – по-настоящему испугалась Лёра.

- Эх, бабоньки! – разрядила обстановку Тома. – Как бы мне не родить тут до завтраго-то!

Только тут Лёра вспомнила о ее беременности: к брюху, как к данности, она уже привыкла и не замечала, и вообще, шутки этой непробиваемой опустившейся особи доводили ее до белого каления. Она прошипела:

- Ты пошути... Ты пошути мне еще...

- А чо шутить-то? – простодушно обиделась Тома. – Никаких шуток. У меня воды отошли, еще когда я Тольку тащила.

Лёра в панике взглянула на Веру, но та лишь плечами пожала: ее лицо кривилось от боли, ей явно было не до Лёриных проблем.

Прошла очень тихая минута – а может, и час – счет времени Лёра давно потеряла. За эту минуту или час она очень последовательно выстроила перед собой чудовищную картину: из них четверых на что-то годится только она одна; на руках у нее двое с тяжелыми переломами и роженица; мороз примерно минус семь-восемь, а ночью будет все пятнадцать. Дальше она не думала. Этого Лёре и так хватило для того, чтобы с размаху сесть на мерзлую землю и с протяжным стоном обхватить голову руками. Но посидеть спокойно ей не дали – неугомонная Тома вновь трясла ее:

- Слышь, Лерка, там, в лесу, вроде блестит что-то...

Тяжело вздохнув, Лёра с трудом подняла голову и посмотрела, куда указывала Тома. Было около четырех часов, и незадолго до аварии Толик успел включить фары. Они продолжали гореть и теперь, направленные на лес – и будут гореть, пока не сядет аккумулятор. Но в их свете глубоко в лесу действительно что-то поблескивало, подобно тому, как окна отсвечивают желтым и розовым на закате.

- Дом там, что ли, с окном? – с большим сомнением спросила Тома.

\* \* \*

...Пошатываясь, Лёра выбралась на крыльцо. Ноги ее подогнулись, и она тяжело рухнула на ступеньку, жадно глотая мороз-ный воздух. Сунула руку в карман, машинально ища сигарет, но обнаружила, что на ней только свитер, а куртка с сигаретами валяется где-то в доме. На голове у Лёры тоже ничего не было, выбившиеся из «хвостика» волосы падали ей на лицо, но сил поднять руку и откинуть их не осталось...

Холод моментально охватил ее с ног до головы – это верное воспаление легких, нужно срочно вернуться в дом! – но Лёра не шевелилась, апатично глядя перед собой на черную стену леса.

До этой ночи ей казалось, что в жизни ее было достаточно страшного; что случись с ней большее – и этого она не переживет, с ума сойдет.

Но вот, не сошла. Более того – все получилось гладко, невысказанно гладко, так, что и мечтать о лучшем не приходилось.

Побежав на отблеск в лесу, она действительно нашла домик на лужайке. Света в окошке не было, но она зачем-то стала отчаянно стучать в дверь, и тупо стучала до тех пор, пока не обнаружила, что дверь вовсе не заперта: Лёра буквально ввалилась внутрь. Изнутри в неверном свете сумерек избушка выглядела так, словно хозяева на минутку вышли.

«Значит – сейчас придут!» – нахлынул на Лёру восторг. Выскочив, она крикнула изо всех сил: «Хозяева!!! Хозяева!!!» – но в ответ только судорожно взлетела с ветки крупная птица. Лёра сообразила, что, как бы там ни было, а следует пока всем перебраться в избушку...

Толика они тащили вдвоем с Томой, и как по пути совсем не угробили – Лёра понять не могла: роняли раза три. Она находилась в истерическом остервенении, тянуло закричать без слов, повалиться на землю, замолотить по ней руками – до того нелепо, некрасиво все происходило – как на неудачной репетиции: все не так, каждое движение неверно, и хочется все поправить одним махом – а невозможно, утерян контроль... Толика положили на широкую лавку у стены, и он непостижимым образом, вместо того, чтобы скончаться, пришел в себя и классически, как и подобает тяжелораненому, попросил пить.

- Не-ту!! – почти рыдая, выкрикнула надорвавшаяся Лёра.

- Как – нету? – в сенях полное ведро стоит. Только ледок сверху разбить – и пожалуйста, – невозмутимо сказала Тома.

Она вышла и через несколько минут действительно вернулась с кружкой и стала поить страждущего.

- Хватит! За Верой пошли! – звала Лёра; ее трясло.

- Сама иди, – ответила Тома. – Схватки у меня.

Издав нечто вроде рычания, Лёра дернулась назад. «Что это?! Что это?! – кричало по дороге все ее немощное существо. – Я не могу! Я этого не смогу!!» Но она смогла.

Подхватив Веру под мышки, она проволокла ее сто метров до избы волоком, пятясь задом и ругаясь вслух. Уже невозможно было обращать внимание на то, что Вера вскрикивает, плачет в голос от боли и просит Лёру быть «хоть чуть-чуть поосторожней».

«Поосторожней?! Да я сама тут сейчас упаду и не встану, кто меня-то потащит?! Не помрет, пусть будет довольна, что о ней вообще заботятся!» – испытывая острую жалость к себе самой, задыхаясь, подумала Лёра, а вслух сказала:

- Терпи: я же не могу тебя поднять, а Томка там рождает...

- Несчастливая... – проговорила Вера, и было непонятно, к кому относится это слово.

Может, Вера относилась его и к Томе, но с этим Лёра категорически не могла согласиться. «Несчастливая! Черта с два! Она шестого рождает, и ей на него плевать, как и на остальных. Кто тут несчастный так это я, Господи, Боже мой!».

У крыльца она опустила Веру на землю и крикнула в дверь:

- Да ты хоть по ступеням ее поднять помоги!!

Тома покорно вышла и, увидев, как Лёра снова подхватила Веру под мышки, ничтоже сумняшеся, уцепилась ей прямо за сломанные голени. Вера взвыла так, что Лёра ее уронила, а потом дала себе волю, завопив:

- Ты вообще, что ли, не соображаешь, что делаешь?! У тебя голова для чего на плечах?! Чтоб сивуху жрать?!!!

Отпустив ноги, Тома выпрямилась и покрыла Лёру таким виртуозным, едва ли не артистическим матом, что та окаменела.

- Девочки, уймитесь Христа ради, не время сейчас! – лежа на земле, взывала бедная Вера.

Лёра опомнилась:

- Короче, ты ее сверху держи, а я возьмусь тут, выше колен...

Как-то и Веру внесли в избушку, поместив ее на другую лавку, ногами к голове Толика.

- Померла? – драматически прошептал тот.

Лёра только плюнула.

Ей подвернулся табурет, она села на него и стала осматриваться.

- Свету бы, – безнадежно пожаловалась она в пространство.

- Чичас, – как ни в чем не бывало, отозвалась Тома. – Лампа тут керосиновая, полная совсем.

- Ты у нас прямо фокусник, – нехорошо усмехнулась Лёра. – И вода у тебя есть, и свет... Может, и пожарить найдется?

- А как же! – Тома, похоже, давно уже утратила способность удивляться. – Там в углу шкафик маленький. Консервами доверху заставлен. Сейчас будешь?

- Какое там...

- А то давай, наворачивай, подкрепляйся. Тебе еще роды у меня принимать.

Лёре показалось, что она бредит. Слов не было.

Позже, почти в невменяемом состоянии Лёра топила печь. Это оказалось еще той наукой. Надо сказать справедливости ради, что если б не покалеченная Вера, то жертвы крушения так и остались бы в нетопленном помещении. Заметив со своей лавки, что Лёра бестолково мечется по избе, хватает и бросает на пол поленца из аккуратно сложенной в углу стопочки и причитает, Вера рискнула сказать:

- Лёр, ты сначала успокойся...

- Успокойся?! – взвизгнула Лёра. – Помогла бы! У тебя ноги отшибло – не голову! Вот и скажи, как такую дурацкую печь топят!

- Подойди сюда, сядь, – измученно позвала Вера.

Лёра села. Вокруг был кошмар на трех лавках: поломанные Толик с Верой, и, самое страшное, разлегшаяся Тома, тихо скулившая у другой стены.

О ней Лёра решила подумать потом: хоть час-то в запасе у нее был.

- Слушай спокойно, – тихо говорила ей Вера; наносная «марфушковость» давно уж с нее слетела. - Печь затопить необходимо: у нас здесь скоро будет младенец, да и мы сами померзнем. Как топить – я тебе объясню, посмотри только, где заслонка и помни о ней, не то угорим. Как затопишь – поставь немедленно воду нагреваться – ребенка обмоешь. Кстати, вон под Томкиной лавкой еще один тазик. Пока греется, поищи здесь каких-нибудь тряпок, полотенец, одеяло какое-нибудь – заворачивать. Вот еще что. Хорошо, что сумку свою принесла. В ней маникюрные ножницы есть? Ими попробуешь пуповину перерезать, протри их только духами сначала. Сантиметрах в десяти от тельца. Тесемку тоже найди – накрепко перевяжешь. Или нет – сначала перевяжешь, потом обрежешь. Не перепутай, или он кровью изойдет. Да запомни это – не трясись головой! – Лёра в самом деле все это время размеренно опускала и поднимала голову. – Да за Толиком следи, хотя тут я не знаю, чем помочь, но пить давай ему, что ли... Сама консервы вскрой и поешь – не то свалишься. И... мне дай. Да не бойся так! Она в шестой раз рождает, природа сама все сделает!

В это время Лёра пыталась с пятого на десятое припомнить раздел «Роды» учебника по акушерству; ей пришлось основательно изучить его, когда беременной ходила ее подруга Надя, читала только его и все время заставляла читать Лёру, беспрестанно спрашивая – как Лёра думает, действительно ли правда все, что там написано.

«Скоро я это узнаю», – с безнадежным цинизмом сказала себе Лера.

В конце концов, под контролем Веры печь была затоплена – и Лёра вновь ощутила всплеск ненависти к больной – за то, что в сравнении с Вериной собранностью, проявленной даже в таком беспомощном состоянии, Лёра выглядела вовсе никчемной. «Актриской», как недавно еще выражался Толик...

\* \* \*

...Холод пробрал Лёру насквозь. Она поняла, что надо бы как-то подняться, но по-прежнему ощущала трепет во всем теле. Все были живы: Тома с новорожденным уродцем-девочкой, имевшей вместо правой ножки нечто похожее на ласту; Вера, стоившая уже не от боли, а оттого, что хотела в туалет, чего Лёра никакими усилиями не могла ей предоставить, и даже Толик, который хоть и не шевелился, но ухитрился со своей лавки комментировать события. И, самое удивительное, жива была и Лёра. Она не отправила на тот свет Тому, хотя в том, что она увидела, не нашлось абсолютно ничего похожего на то, что какой-то вредитель нарисовал в учебнике по акушерству. Она даже зачем-то вытащила уродца с того самого света, потому что «младенец», родившись, не пищал. Находясь в шоке от ужаса, Лёра перевернула его вниз головой и начала шлепать – так, что имелось две возможности: либо окончательно вышибить из него дух (что, по человеческим меркам, было бы и лучше), либо заставить вдохнуть. Получилось второе, но Лёриной заслуги в этом не было. Она, правда, не уронила ребенка на пол, а могла бы: так тряслись руки, и таким он был скользким... Лёра показала девочку мамаше, но Тома, как и следовало ожидать, никаких эмоций не проявила. Она мутно взглянула на дочь, равнодушно скользнув взглядом по безобразной ласте, пробормотала нечто вроде: «Ну вот, еще один подарочек привалил», – а потом закрыла глаза и, как ни в чем не бывало, невозмутимо захрапела, предоставив Лёре дальше выпутываться самой.

- Животное, – процедила Лёра. – Кастрировать таких надо...

Завернув ребенка в одеяло, найденное еще раньше в том же «шкафике», она осторожно уложила его на прогретую печь, а потом швырнула на Тому для приличия ее же пальто, решив больше к ней не прикасаться.

- Вот видишь, не так страшно, слава Тебе, Господи, – крестясь, сказала Вера, когда Лёра встретилась с ней взглядом.

- Эх, бабы, за такое дело принять бы капель по пятьсот, да нечего! – огорчился Толик на своей лавке.

Лёра дико на него посмотрела и рванулась вон из избы...

Сидя на крыльце, она ни о чем не думала, ничего не чувствовала. Только когда от мороза у нее начали появляться судороги, она заставила себя подняться и пошла, верней,

поташилась, цепляясь за все подряд, обратно в избу. Войдя, она зацепила и таз с водой, он перевернулся и залил пол. Это была такая мелочь, что даже замечать ее не следовало. Лёра села на табурет, привалившись к столу: лежачего места для нее не оставалось. Наступила неизбежная реакция организма на потрясение: Лёру повело, к горлу подступила и отпустила тошнота. Она положила голову на руки и уже не слышала Веру, которая силилась до нее докричаться с какой-то важной информацией – Лёру просто вырубил из мира.

Она очнулась от душераздирающего крика. Потребовалось несколько минут, чтобы осознать положение и определить, что кричит Вера, кричит страшно и, вероятно, уже давно. Лёра уставилась на нее с одной мыслью: «Что тут еще случилось?!».

За окошком заметно посветлело, день, похоже, собирался выдаться даже солнечным. Лампа погасла. Вера, приподнявшись, кричала. Очень постепенно до Лёры дошло, что это не просто крик, что он заключает в себе сакраментальное слово – самое важное на свете слово сейчас: «Автобус, Лёра!!! Автобус! Автобус! Автобус!!!».

Издалека слышались странные натужные звуки. Источник их мог быть только один: где-то недалеко по дороге медленно ползет, переваливаясь на рытвинах и ухабах, маленький грязно-белый автобус, что везет в Смоленск горемычную гастрольную труппу. И вряд ли он остановится у перевернутой машины: не увидев рядом никого, водитель решит, что пассажиры каким-либо образом покинули место аварии, а за машиной придет тягач.

Лёра бежала так, как можно бежать только от смерти. Она совершала невероятные рискованные прыжки через кочки и коряги, шестым чувством угадывая, куда ставить ногу – и ни разу не оступилась, не пошатнулась.

Но, когда она была уже почти у опушки, автобус мелькнул прямо перед ней за деревьями и – проехал мимо...

- Стой!! – заорала она из последних сил. – Стой же, гад!!!

Но она знала: в автобусе гомон, а то еще и пение, кроме того, работает громкий мотор – услышать ее невозможно. Но Лёра продолжала бежать и звать, реветь странным низким голосом, и все звала, выскочив на дорогу, и даже пыталась догнать удалявшийся автобус – а потом опустилась на четвереньки и тихо заплакала...

...В комнате стало совсем светло. Возилась, явно собираясь проснуться, тошнотворная Тома, зато дремал Толик, и дыхание вырывалось у него с хрипом. Теперь, при свете дня, разглядев вокруг его посеребривших губ лёгкий розовый налет, Лёра догадалась, что это такое...

Она сидела на полу возле Веры, обхватив колени и безучастно глядя перед собой.

- Что ж ты, Лёра, я ж тебе кричала...

- Да не слышала я! И когда услышала – не сразу поняла! Я была как по голове стукнутая! – оправдывалась она.

- Ладно, надо думать, что дальше делать.

- Хочешь, я на дорогу караулить пойду? – неуверенно предложила Лёра.

- Неделю можно прокараулить. А Толик-то, между прочим, хоть и хорохорился долго – а к вечеру помрет. Да и младенчик Томкин... – Вера понизила голос: – Сдается мне, что она... Прости ее Господи... Не очень-то хочет его выкармливать... Возьмет и скажет: молока у меня, мол, нету... А как ты проверишь... Хоть и грех так говорить – да ты знаешь, что это за женщина...

- Да не женщина она вовсе! – воскликнула Лёра. – Если я – женщина и ты – женщина, то как ее-то назвать?!

- Не суди, Лёра, Бог рассудит, – как по писаному отозвалась Вера.

- Рассудит, рассудит... То когда еще рассудит, а мне-то сейчас что делать с вами? – Лёра намеренно так сказала, чтоб напомнить Вере о ее зависимом положении: лежит, под себя ходит, а туда же – поучать!

- Я тебе скажу, что делать: за помощью идти.

- Идти?! – изумилась Лёра. – Сотню километров?! Это я через неделю дойду, если дойду вообще.

- Не сотню. Дорога здесь не прямая, крюк делает – будь здоров. Лес тут рубить трудно было, проложили, где полегче. Если напрямик, то от дороги на северо-восток километров тридцать выйдет, ну, может, с гаком. Так в шоссе и упруешься, ну, а там подъедешь на чем-нибудь.

Лёра опешила:

- То есть как? Через незнакомый лес, одной, тридцать километров с гаком? А в самом «гаке» еще, может, десять?! Да ты вообще думаешь, что говоришь-то, а?!

- А ты что, другой выход знаешь? – огрызнулась Вера.

- Ну, я думаю, хозяева вернутся. Это лесники, наверное, у них, может, велосипед есть или еще что... Они же явно ненадолго ушли: дом не заперт, вода есть, дрова, лампа... Да ты лучше меня должна знать, чей это дом!

Вера задумалась:

- Нет... Егеря нашего я знаю, он далеко отсюда живет, а другого здесь нет. На охотничью заимку тем более не похоже. Накажи меня Бог – не догадываюсь даже. Знаешь, как-то странно всё: по этой дороге люди сорок лет ездят, уж кто-нибудь да знал бы, что здесь дом. И все бы узнали... Он на вид крепкий, теперь таких не ставят, старый, значит. Ума не приложу... Но кто-то тут еще недавно был – ежу понятно. Не знаю, Лёра, а только чувство у меня есть – не придут сегодня хозяева. Тебе идти надо, чтоб до ночи в Смоленске быть. Обратишься там в милицию – они должны знать, что делать... У нас тут иногда теряется кто-то, бывает, вертолеты летают, ищут... Пусть они там, как хотят, делают – но ты иди, Лёра, иди, чует мое сердце – обойдется. Везучая ты, видать...

Лёра молчала, пытаясь свыкнуться с новой страшной мыслью.

- Возьми консервов, – наставляла Вера. – Нам с Томой открой несколько банок, нож тоже бери – мало ли что...

- Что... Что значит – мало ли что? – испугалась вконец Лёра.

- Ну, лес... – неопределенно ответила Вера. – Стороны света определять умеешь?

- Кажется...

Ей действительно казалось, что это просто: мох с севера, муравейник с юга, да и читала она что-то поконкретнее... Но главной мыслью, определившей Лерино решение, стала одна: если ночью она доберется до Смоленска и пошлет помощь остальным, то у нее еще есть микроскопический шанс успеть в театр. Может, удастся как-то добраться к утру до Москвы и лететь из Шереметьева самолетом: ну их, эти деньги на пальто – Роль дороже – ее будущее. Прокрутив все это в голове, Лёра вскочила; жизнь и смерть этих людей не могла бы заставить ее собираться так быстро, как мысль о Роли. Пооткрывав консервы и поставив перед женщинами на пол по кружке воды, она склонилась над Толиком. Он не шевелился. Что ж, придется ему, похоже, обойтись, разве что Тома встанет и соизволит его напоить-накормить... В последнюю минуту она вспомнила о новорожденной, подошла, посмотрела. Красное личико выглядело хоть и уродливо, но спокойно. По крайней мере, девочка дышала. В любом случае, больше, чем Лёра для нее сегодня сделала, сделать невозможно. «Вот кто тут несчастный – так несчастный!» – подумала она, но без боли: какая-никакая, а мать у ребенка имеется.

Тома все еще спала, лежа навзничь. Лёру перекосило от отвращения. Она в последний раз огляделась: печь грела вовсю, до прихода помощи окончательно не остынет; заслонка была на месте. Лёра шагнула к двери.

- Постой! – окликнула Вера.

Недовольная задержкой, Лёра приблизилась.

- Сядь.

Она села без споров – лишь бы скорей,

- Вот что, Лёра, – тихо проговорила Вера. – Если что – ты меня прости... Может, обидела я тебя чем, не знаю... Скажи – ты в Бога правда веруешь?

- Правда.

- Так может, помолишься на дорожку? Иконы же есть.

Иконы Лёра замечала в углу и раньше – две больших, Спасителя и Богородицы, в металлических начищенных окладах, и несколько малых, деревянных, совсем черных от времени. Ей просто некогда было их разглядывать за всеми ужасами.

- «Отрицаюсь...» прочти, – посоветовала Вера.

«И здесь лезет, покоя от нее нет!».

- Не учи, знаю. Отрицаюсь тебе, сатано, гордыни твоей и служению тебе. И сочетаюсь Тебе, Христе, во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. – Лёра перекрестилась. – Ну, пошла я,

- Иди... Лёр, спасибо тебе, – прошептала Вера.

«Ну вот, сантименты пошли», – промелькнула у Лёры злая мысль, но молчать было нельзя, и она сказала:

- Да ладно, не за что – куда б я делась... Болят ноги-то? – она вспомнила, что ни разу за вечер и ночь этим не поинтересовалась, и ей стало неловко.

- Нет, не очень... Когда не шевелюсь – так и вовсе не болят. Онемели, не чувствуют ничего...

- Так, ясно... Ну...

- Лёрочка! – вдруг взмолилась Вера, и в голосе зазвенели слезы. – Ты уж поскорей там как-нибудь, прошу тебя! Умоляю!

Лёра кивнула, поправила шарф на голове и вышла.

...Снега по-прежнему не было, но на земле, шуршащей перепрелой листвой, на деревьях – везде лежал тонкий, прозрачный налет изморози. Кое-где сохранились на ветках чудом уцелевшие листья, лес звенел от холода, дрожал в ожидании теплого снега, а солнце, что иногда показывалось в просветах, выглядело сущим издевательством. Но несмотря ни на что, это была красота – сомнительная, тревожная и враждебная – но все же красота...

Замечать все это у Лёры не было ни времени, ни охоты. С самого начала она взяла хороший разгон, стараясь не сбавлять заданного темпа. Она не совсем была уверена, что идет на северо-восток, но, рассчитав, что дорога проходит с запада на восток, перейдя ее, скосила на сорок пять градусов и теперь продиралась в этом направлении, решив идти во что бы то ни стало по прямой. Но чем дальше она продвигалась, тем больше ее охватывали сомнения: становилось очевидным, что сориентироваться нужно точнее. Лёра стала осматриваться в поисках мха на стволах, и была поражена странным явлением: он рос на деревьях со всех сторон, и определить, где гуще, она не могла. Оставались муравейники, но они почему-то не попадались. Выбравшись на небольшую полянку, Лёра решила воспользоваться знаниями, почерпнутыми несколько лет назад в брошюрке «Выживание в экстремальных условиях». Она хорошо помнила, что нужно воткнуть палку в землю, отметить конец тени, подождать пятнадцать минут и отметить точку, куда тень переместится... Не теряя времени, она выполнила первую часть требуемого и грустно присела рядом в ожидании.

«А ведь это, наверное, очень храбро, – вдруг подумалось ей. – Храбро молодой городской женщине вот так идти через лес одной да еще хитро определять направление...». Она сейчас гордилась собой и даже пожалела, что никто не видит. Парадоксально – но Лёра в самом деле не боялась. Наоборот, она чувствовала облегчение оттого, что вырвалась из домика, битком набитого неприятными ей людьми, которым она еще и обязана была помогать, чуть ли не жертвуя собой. Лёра хорошо понимала, что оказанная ею помощь была бестолковой, неумелой и, уж если быть совсем честной, причиняла им больше мучений, чем пользы. Один Толик с его грудной клеткой чего стоит! Чудо ведь, что он еще дышит после такой транспортировки, какой они с Томой его подвергли! А Вера! Да если б ее, Лёру, тащили так, то она бы дуба врезала от болевого шока через десять метров! А роды! При этом воспоминании у Лёры в голове что-то замкнулось: то, что человек уж очень не хочет вспоминать, до поры до времени само складывается аккуратными пластами в потаенные отделы подсознания и в нужный момент выдается порциями. Сейчас момент был не тот.

Лёра отметила новую позицию тени и, как было велено в книжице, продлила линию на один шаг. Теперь следовало встать одной ногой к первой точке, а другой – в конец линии и оказаться липом к северу. Лёра обомлела. До этого она мысленно оперировала понятиями «одна нога – другая нога», и только теперь вспомнила, что ноги неравнозначны, и одна из них правая, а другая – левая. Сено-солома. И Лёра решительно

не могла вспомнить, сено или солому ставить у первой точки. А ведь в зависимости от этого направление менялось ровно на 180 градусов! Из тех самых закромов подсознания всплыла картинка в книжке. На картинке были изображены – она ясно это вспомнила! – ноги в ботах, стоявшие у точек А и Б. Обозначилась и такая фраза: «Если вы не уверены, какую ногу ставить у точки А, то...» – и за этим следовала уже абсолютная чернота.

Лёра поставила сначала левую ногу. Из этого положения следовало, что раньше она шла строго на север, а не на северо-восток. Поменяв ноги, она могла предположить, что шла на юг – только и всего. Но, раз на юг согласно словам Веры, она идти не могла, то пришлось сделать вывод, что первая попытка и была верной. Скорректировав направление, Лёра опять тронулась в путь и шла так до тех пор, пока справа вдруг не затрещал валежник. Бросив взгляд в ту сторону, она увидела, что в кустах копошится кто-то среднего размера. Не раздумывая, Лёра метнулась вбок и помчалась так же быстро, как утром к автобусу. «Волк! Или секач! Больше никому!». Подгоняемая атавистическим страхом и боясь оглянуться назад, Лёра бежала, наверное, минут десять, пока не почувствовала острую, невыносимую боль в боку. Только тогда она осмелилась остановиться и оглянуться. Кругом по-прежнему сыла тишина. Никто, конечно же, за Лёрой не гнался, да и гнаться не мог, зато она забежала в неизвестное место, а солнце за это время успело исчезнуть. Проклиная себя, Лёра села прямо на землю. Оставалось только ждать, пока солнце соизволит выглянуть снова – чтобы повторить давешнюю манипуляцию с палкой, тенью и сеном-соломой (причем Лёра уже сомневалась, какую ногу сочла правильным ставить час назад)...

Справа от Лёры невдалеке начиналось неширокое, но длинное болото с редкими кочками. Оглядевшись, Лёра заметила, что и лес, в который она прибежала, выглядит иначе: деревья ниже и совсем другие – чахлые, какие бывают лишь в болотистых местах...

«Н-да, пробежалась...» – подумала Лёра.

И впервые за это утро страх, незаметно подкравшись, стал тихой сапой заползать в сердце. У страха есть много пород – от запредельного, парализующего ужаса до легкой тревоги. Речь здесь идет не о степени, но о качестве страха. Тот страх, с которым всю ночь сражалась Лёра (так, кстати, его и не победив, а позорно бежав с поля боя) был конкретным, его определяли объективные события... Но страх, постепенно овладевавший ее сердцем теперь, был хуже и гаже. Это такой страх, когда человек, трезвым взглядом видящий, что никакой непосредственной опасности нет, боится пошевелиться, громко вздохнуть и оглянуться, хорошо зная при этом, что никого, во всяком случае, видимого, рядом нет. Такой ужас может напасть и в темноте, и при свете, но всегда – в одиночестве открытого или замкнутого пространства. Верующий начнет 90-й псалом, где как раз и собраны всевозможные страхи, а если к тому моменту уже и ум отшибет, то Иисусову молитву уж как-нибудь да вспомнит.

Но с Лёрой произошла странная вещь. Считая себя человеком верующим, она, конечно, знала и 90-й псалом, и молитвы на разные случаи, но вот именно теперь вдруг решила по-атеистически избавиться от неведомого кошмара, явно пришедшего извне, своими скромными силами. Напрягая всю силу воли, она заставила себя встать, обернуться и убедиться, что кругом никого и ниче-го страшного нет. Она в этом убедилась, но страх не исчез. Наоборот, он вдруг мертвой хваткой сдавил Лёре грудь и горло, и она застыла с выпученными глазами, равно боясь и зажмуриться, и глядеть. Лёра задыхалась, совсем перестала соображать и вполне готова была потерять сознание.

Именно в тот навеки незабываемый миг она ясно увидела, что метрах в пятидесяти перед ней спокойно идет по краю болота женщина.

Страх такого рода, какой испытывала Лёра, не выносит никаких посторонних вмешательств. Если на сцене появляется кто-то третий, то страх либо исчезает вовсе, либо перерождается, и человек начинает бояться уже непосредственно того, кого увидел.

Женщина, так неожиданно возникшая перед Лёрой, объектом испуга стать никак не могла. Она приближалась – крупная, спокойная, собою – настоящий некрасовский типаж, призванный входить в горящую избу. Одета женщина была в серый ватник и черную с пестринкой юбку. На голове – платок, из-под которого выбивались вьющиеся светлые

пряжки. Лёра могла уже рассмотреть ее лицо; большое, милое и строгое. Умное лицо, отражавшее непростой внутренний склад.

Вмиг позабыв про свой ужас, Лёра рванулась к ней навстречу, на ходу прикидывая, как обратиться: «гражданка» – глупо, «девушка» – странно... Не «дама» же, в самом-то деле!

- Женщина! – выкрикнула она в конце концов. – Женщина, помогите мне!

Незнакомка остановилась, не выразив ни взглядом, ни жестом удивления по поводу Лёриного отчаянного вида.

- А, так это вы тут недавно сквозь кусты ломились! Я-то думала, зверь какой от волка удирает... А это... – она окинула Лёру спокойным взглядом с головы до ног. – А это актриса.

- Как вы догадались?! – поразила Лёра. – Впрочем, неважно, по мне, наверное, видно... Я действительно от волка бежала... Ну, может и не от волка, но кто-то там... Такой, знаете, большой... В кустах...

- Заяц, – не колеблясь, постановила женщина. – Больше некому.

Лёра смешалась. Мысль о том, что она мчалась от зайца быстрее зайца же, была настолько ужасна, что она не смогла это так оставить и возмутилась:

- Нет, что вы! Крупней гораздо! Я думала – кабан,

- Заяц. Сами знаете – у страха глаза велики.

От непреклонного вида женщины Лёра и вовсе потерялась и решила сразу сменить тему:

- Ну, не знаю... Не в этом дело... А дело в том, что я теперь совершенно заблудилась, а у меня неприятности, и мне нужно срочно в Смоленск. Вы, я вижу, тут местная, так что знаете, конечно, как выйти покороче...

Она ожидала, что женщина начнет тут же объяснять, но та молчала, продолжая пристально рассматривать Лёру в упор. Это было, конечно, невежливо, но приходилось терпеть: дорогу больше никто не покажет. Она придала своему голосу всю возможную кротость:

- Скажите мне, пожалуйста, куда идти!

- Неприятности, говорите, у вас? – спросила незнакомка. – А какие?

Лёра начала раздражаться: что ей за дело-то, в конце концов? Спросили дорогу – так покажи, время идет. Но, убоявшись обидеть ее и снова остаться наедине со своей проблемой, Лёра смирилась вторично и, стараясь не показать взвинченности, наскоро объяснила:

- Мы в аварию попали. У водителя грудная клетка сломана, при смерти он; у одной женщины обе ноги перебиты, а другая ночью родила. Они в избушке все там лежат, и ребенок новорожденный на печке... Так что, сами понимаете...

- Да-а! – протянула женщина, глядя Лёре прямо в глаза. – И это вы называете – «у вас неприятности»?

- А что же, по-вашему?! – взорвалась, не выдержав, Лёра. – И вы мне вместо того, чтоб дорогу показать, вопросы... разные... задаете и время тянете!

- И это ради тех людей вы так спешите, правда?

«Что за наваждение! – пронеслось у Лёры. – Будто знает, что не ради них, а на самолет успеть! И вообще, странная она...» Нужно было сказать, что да, конечно, ради них, и желательно побыстрее, но слова почему-то не пошли у Лёры с языка, словно невидимая рука зажала ей рот.

- Ну, хоть не врете – и то хорошо, – подытожила женщина. – Звать-то вас...

- Валерия... – выдавила Лёра, с трудом ворочая языком и мозгами.

Строго говоря, происходило неизвестно что. Люди не говорят так с посторонними, только что встреченными в глухом лесу. Так вообще не говорят – даже близкие остерегаются. У Лёры сложилось впечатление, что неизвестная властная сила проникла ей в душу и теперь медленно выворачивает ее наизнанку. Она предприняла последнюю попытку сопротивления:

- Послушайте, почему вы... так говорите?.. Ведь всё же просто! Покажите, куда идти – да и дело с концом! Что вы всё выпытываете!

Странная собеседница на выпад не ответила, сообщив вместо этого:

- Меня зовут Марфа.

Лёра опять не выдержала:

- Это очень красиво, конечно, но мне теперь хоть Марфа, хоть Мария! Мне дорога нужна! Дорога! Понимаете вы такую простую вещь?!

Марфа покачала головой:

- Не такая простая вещь, как вы думаете. Потому что дороги – две.

Лёра топнула ногой в нетерпении:

- Да покажите ту, которая ближе – есть о чем говорить!

- Да вот не знаю, какая вам больше понравится, – словно бы слабо усмехнулась Марфа.

Лёре показалось, что она стоит перед каменной стеной – хоть головой об нее бейся. Ей захотелось закричать, обзвать Марфу, вытрясти из нее что-то путное, но страх ничего не добиться, а вместо этого еще и получить по мордасам (Марфа – дама крупная) пересилил. Лёра сдалась:

- Хорошо. Я вас не понимаю. Но прошу, выражайтесь как-нибудь ясней.

Марфа улыбнулась:

- Ну вот, а то мне уж показалось, что вы в драку сейчас полезете. Не советую. А лучше давайте-ка вот сюда, – она указала на два замшелых пня неподалеку, – присядем, и вы мне все по порядку расскажете. А я посмотрю, какая дорога вам больше подходит...

Делать было нечего, Лёра села на пенек рядом с Марфой и начала рассказывать «по порядку». Только начав говорить, она и сама поняла, что ей давно хотелось высказаться, не носить в себе всю эту злость и желчь прошедших суток – после первых двух-трех фраз ее речь полилась с удовольствием. Лёре остро нужно было если не сочувствие, то хоть поддержка, и она горячо описывала Марфе всех этих ужасных людей, камнем повисших у нее на шее, говорила о своей будущей Роли, которую если не сыграет, то умрет, по крайней мере, жизнь ее рухнет, о том, как она надрывалась всю эту ночь и проспала автобус, досадовала на зайца в кустах (теперь в угоду Марфе она готова была признать, что бежала хоть от курицы) и даже сетовала на автора книжки, не сумевшего толком объяснить, куда ставить ноги, чтоб оказаться лицом к северу...

Долго бы говорила еще Лёра, если б не заметила, что Марфа что-то пробормотала себе под нос. Она осеклась и спросила:

- Вы что-то сказали?

- Да, думаю, и правда, неприятности у тебя, Лёра. Крупные неприятности...

- А я что говорю! – воскликнула Лёра, обрадовавшись, что Марфа, вроде, прониклась сказанным.

Марфа поднялась:

- Идем, не терпит больше время. Покажу тебе дорогу.

С готовностью вскочила и Лёра, и обе они зашагали вдоль болота, покуда не дошли до трухлявого березового пня у кромки. Марфа положила Лёре руку на плечо, указав на болото:

- Туда смотри. На ту сторону. Видишь валуны напротив, три? На правый смотри: от этого пня на тот валун – прямой путь по кочкам. Можно и в другом месте, но здесь верней пройдешь, может, и ног не замочишь: повысохло теперь болото-то. Как перейдешь – так и иди все прямо. Шагай себе – и через два часа на дороге будешь. Там автобус ходит раз в день. Поторопишься – успеешь.

Лёра ошалела от счастья. Она-то предполагала идти чуть не до ночи, а тут ей предложили прямой и короткий путь. Она бросилась благодарить:

- Вот спасибо, спасибо вам! Сам Бог вас послал! Я-то уж не рассчитывала до вечера в Смоленске оказаться! Спасибо...

- В Смоленске? – оборвала Марфа. – Я не говорила, что эта дорога ведет в Смоленск. Нет, она с той не пересекается. Эта дорога ведет в райцентр, там есть и милиция, и больница, а главное – вертолет, пожарный. Как раз вовремя успеешь к страдальцам твоим...

У Лёры внутри нехорошо похолодело. Она пробормотала:

- Подождите... Мне нельзя в райцентр... Мне нужно в Смоленск... Сообщить там об этих – и пусть спасают, их работа... А из этого вашего райцентра я сегодня не выберусь...

- Завтра выберешься. Там в пяти километрах электричка ходит.

Почти с ненавистью глянула Лёра на эту не желавшую ничего понимать бабу:

- Да нельзя мне завтра! – выкрикнула она. – Я и сегодня-то не знаю, успею ли! Я ж вам говорила! Жизнь моя решается, а вы в толк взять не хотите!!

- Точно. Решается, – с улыбкой подтвердила Марфа.

- Ну?! – почти что взвыла Лёра.

- У тебя – решается. А у них там – кончается, – невозмутимо сказала Марфа.

- Да ничего у них не кончается! – уже не скрывая чувства, заорала Лёра. – Вы за кого меня принимаете-то?! Я ж их бросать не собираюсь, я ж в милицию заявлю, объясню, где и как! Но не могу ж я из-за этого...

- Не можешь. А только до дороги на Смоленск тебе отсюда восемь часов ходу. И то, если опять не заблудишься. Да там километров пятьдесят на чем-нибудь добираться – пока еще найдешь попутку. В милиции – пока тебя допросят, пока раскачаются, пока вызовут кого следует, пока поедут... Дай Бог, чтоб к утру нашли их. Ну, Толик-то уж точно к тому времени помрет, дите тоже. Вера твоя инвалидом безногим станет. Вот кому ничего не делается – так это Томе – тут я с тобой согласна. Но ты успеешь, конечно, на поезд до Москвы. И на самолёт. И роль свою получишь и этот... ангажемент... И знать про них про всех ничего не будешь. Пока сама не помрешь, конечно.

- Э-э... Вы это... Вы тут не драматизируйте. И чудовища из меня не делайте... – растерялась Лёра. – Ишь, какую мрачную картину нарисовали...

- Мрачную или не мрачную – а как сказала, так и будет, – отрезала Марфа.

Лёра перестала понимать происходящее, в голове ужасом взвилось одно: она не успеет в театр, не получит Роль! Роль достанется Котовой: железная главреж «Серебряной дороги» не простит проволочек, оправданий слушать не станет – тем более, что Оленькина игра не может не понравиться. А Лёра вернется в «Марлен» и останется там без Ольги на прежних позициях... Только на фиг ей теперь этот вшивый «Марлен», дыра эта вонючая, пресловутая синица в руке, когда она уже подержала было за хвост гордого журавля!!! И, поняв все это, Лёра истерично завизжала:

- Не могу!!! Не могу, хоть режьте меня!!! Не могу и не хочу!! Вся жизнь и так псу под хвост, а теперь еще и это! Из-за чего, спрашивается?! Из-за ублюдницы с ее отродьем?! Из-за дуры круглой в ботах?! Из-за пьяного кретина?! Да почему я жизнь-то свою должна им под ноги кидать!

- А они почему за твою – не жизнь, а мечту всего лишь, должны свои жизни – отдать? – тихо опросила Марфа.

- Да какое тут может быть сравнение?! – в лицо ей заорала Лёра. – Я или они – что тут общего?! Что они могут-то, кроме как небо коптить?! Какая польза от них, кроме вреда?! Сравнили тоже!

- Та-ак... – протянула Марфа. – Значит, взвесила все, рассчитала. Четыре, значит, жизни на одной чаше, одно твое удовольствие – на второй – и перевешивает, да?

- Господи, да конечно перевешивает! – в запале не сумев остановиться, крикнула Лёра. – Да и что у них за жизнь – так, слякоть одна. Кроме того, не верю я, что они там перемрут все. Обойдется.

Марфа пожала плечами:

- Господа все поминаешь... Вот и меня, говоришь, Бог послал. Избавить тебя от неприятностей. А ты хоть помнишь, что он раньше-то сделал? На землю зачем во плоти приходил?

- Распяться приходил, – окрысилась Лёра. – За наши грехи.

- И за твои?

- И за мои.

- Так. А за них, за твоих попугчиков, не распинался?

Лёра задумалась: да, конечно, Верка-то – церковная мышь, а вот остальные...

- Распинался, да они образ Его утратили, – удачно нашлась она.

- А ты – нет? – пыталась Марфа.

- А я – нет, – ответила Лёра сквозь зубы: неприятный разговор получался, нечего сказать... Ну и Марфа – прямо философ в ватнике... И говорит складно, будто университет закончила. – Так на Смоленск вы дорогу не покажете?

- Покажу, – неожиданно согласилась та. – Вон, налево ельничек видишь? За ним тропочка. Малая совсем, заросла уж, да видно еще. Виляет-виляет, но к новому шоссе выведет. Через восемь часов, как я сказала.

Лёра повернулась посмотреть на ельничек, увидела его, процедила Марфе через плечо:

- Ну, разродились наконец! И на том спасибо.

Она не получила никакого ответа. «Ну и ладно, упрямая баба, дуешься – и дуйся, мне-то что!» Всею спиной выражая презрение Марфе, Лёра демонстративно не поворачивалась, но вдруг испытала странное ощущение позади – чувство пустоты – и тогда рефлекторно обернулась. Никакой Марфы не было. Прежняя чуткая тишина повисла над лесом и болотом.

«Свалила по-тихому, – решила Лёра. – Тоже презрение выказывает. Да пожалуйста, жалко, что ли... А все же странная она...».

Нужно было идти куда-нибудь, во всяком случае, подальше от этого гнилого места. Через болото, как же! Да на него и взглянуть жутко, не то, что по кочкам прыгать... И Лёра решительно направилась к ельнику. Присев там на поваленное дерево, она достала из сумки консервную банку и принялась неловко вскрывать ее большим туповатым ножом. То ли руки ее тряслись, то ли нож не годился, но только он вдруг скользнул по крышке и с размаху врезался Лёре в ладонь. Она вскочила, выронив и банку, и нож, с ужасом глядя, как кровь хлещет из довольно глубокой треугольной раны. Рука, казалось, сразу онемела до локтя. Выхватив из кармана носовой платок, Лёра прижала его к ране. Тщетно: в считанные секунды он пропитался насквозь, пришлось его бросить. Лёра стала судорожно лапать сумку здоровой рукой в поисках гигиенических салфеток.

Проку и от них не оказалось: салфетки промокали одна за другой, а кровь и не думала останавливаться. Среди смята Лёра вспомнила, что умные люди делают в таких случаях жгут. Соорудить его было не из чего, но в сумке нашлась резинка для волос. Ее удалось натянуть на запястье, и кровь действительно стала течь слабее. Немного успокоившись, Лёра разыскала в сумке еще и остатки мотка изоленты: ею в театре она обматывала провод лампы в своей гримерке. Изолентой она теперь прикрутила к ране две смоченные духами салфетки и сочла перевязку удачной: кровь почти остановилась. В ране пульсировала боль, но это было уже неопасно...

Лёра села обратно на поваленный ствол и жалобно прохныкала:

- Ну за что мне еще и это?! Мало, что ли, на меня свалилось?!!

«Мамай пришел домой с раной», – отозвался кто-то ехидный у нее под ухом, и Лёра тихонько заплакала.

- Ну почему я одна, почему мне никто не поможет... – причитала она сквозь слезы. – Почему все только издеваются... Сколько ж можно...

Ее рыдания понемногу затихали. Лёра попробовала собраться с мыслями. Она смотрела то на жалкую свою руку, то оглядывалась вокруг, то прислушивалась к болезненным толчкам перетянутого пульса... Она, наверное, потеряла граммов двести крови! Лёра пыталась отдать себе волевой приказ настроиться на нелегкий восьмичасовой путь по партизанской тропе, но не могла. Станным образом Смоленск, Москва и даже перспектива добраться в срок до Петербурга утратила свою привлекательность. Лёра словно увидела себя со стороны: жалкая, чумазая, некрасивая женщина в облезлой куртке, скрючившись на бревне, поддерживает под локоть свою грубо перевязанную окровавленную руку и, за неимением платка, утирает соплю ладонью, совсем как Томины дети, и размазывает с ними кровь и грязь по красному, зарванному и распухшему лицу... И женщина эта абсолютно никому в мире не нужна, но зачем-то совершает вечные потуги с целью кому-то что-то доказать – а никому доказывать не нужно, потому что никому просто неинтересно... Она ни разу в жизни не совершила ничего значительного, а когда один раз попыталась совершить – то ее просто побили. Она семь лет копошилась в задрипанном театрике – и за месяц чуть все не потеряла. Она не родила ребенка, не

сыграла Роль, а думала всю жизнь, что это еще не жизнь, а жизнь вот-вот начнется – только нужно подготовить ей дорогу, и она отчаянно репетировала, уверенная, что вот-вот свыше назначат главную премьеру – и уж тогда-то будет аншлаг, а потом – сплошной триумфальный бенефис... Но премьеры все не было, – а вместо этого была изнуряющая нищета, мышьяная возня, а теперь вот – бессмысленный ноябрьский лес, ни на что не похожая левая рука и одиночество кругом... Дожила до премьеры, нечего сказать...

Врать сама себе Лёра не могла: она точно знала, что идти надо через болото, а ельник – лишь компромисс с совестью, довольно-таки грязная и не особенно выгодная сделка с нею... Сознательно шла на нее Лёра: слишком уж желанная цель маячила впереди. А вот теперь цель эта неожиданно стала блекнуть, забрезжило другое, странное, мелькнули противные физиономии Толика, Томы, Веры, омерзительная лапа несчастной новорожденной девочки... Идти надо через болото, чтобы эта девочка могла умирать долгой мучительной смертью в доме своих родителей, чтобы и дальше веселилась с собутыльниками ее мать и в будущем еще раз родила от кого-нибудь «не мышонка не лягушку»; чтобы продолжал пить, сквернословить и дубасить безответную, говорят, жену Толик, чтобы Вера пела на клиросе в заброшенной церкви, где никто не слушает, да чтобы ее, Лёрина, жизнь, где до нее никому нет дела, продолжалась по-прежнему – в каторжном труде, бедности и безвестности.

Лёра посмотрела в глубь ельника, потом на землю. Малоприметная, полусасыпанная листьями и почти заросшая побуревшей травой, пригласительно вилась неширокая тропа. Лёра знала, что вполне сможет идти восемь часов и даже не очень устанет, но идти расхотелось. Она не помнила, какие именно слова Марфы заставили ее изменить решение, да и сам разговор был уж слишком неприятен для воспоминания, но Лёра чувствовала: проскочило в нем нечто такое, после чего нельзя идти в Смоленск, не возненавидев саму себя по дороге...

Она поднялась, натянула на пораненную руку рукавичку, отпихнула ногой консервную банку, из которой сочилось нечто серое, и, внутренне охая, двинулась обратно к болоту...

Через два часа Лёра уже не понимала, как это она раньше собиралась идти восемь. Ноги у нее заплетались, в желудке подсасывало, она жалела о брошенной консервной банке – словом, все ощущения сосредоточились на физическом. Об утерянной навеки Роли, одинокой квартире – даже о пальто! – не думалось, словно и мысли устали метаться. «Как-нибудь» – прорывалось сквозь душевное оцепенение.

Деревья понемногу редели, явно намечался просвет. Когда Лёра сообразила, что недалеко уж и до обещанной Марфой дороги, с ней произошло то же, что и с лошадей, которая, как известно, почуяв запах конюшни, резвей бежит. Какая ее ждала «конюшня» – о том Лёра и думать не хотела, казалось важным только одно: уронить куда-нибудь голову и закрыть глаза. Балованное тело поначалу возмущалось отсутствием дивана, чашки кофе, горячей ванны, но потом быстро сдало позиции и словно само подсмеивалось над былыми притязаниями. Оно было уже вполне согласно на соломенную подстилку, а если таковой не найдется – то хоть на голые доски. Теперь, учуяв эти самые возможные доски в перспективе, оно собрало остатки бывшего куража.

Как смогла, Лёра ускорила шаг и вспомнила знаменательную Марфину фразу: «Там автобус ходит раз в день. Поторопишься – успеешь».

Видит Бог – она торопилась. Но может, прошел уже тот вожделенный автобус?! «Только не это!» – она сделала попытку припустить трусцой и как-то вдруг выскочила с разбегу на довольно ровную и широкую грунтовую дорогу, что делала плавный загиб именно в том месте, где оказалась Лёра.

Две вещи произошли одновременно: далеко, метрах в двухстах слева, она боковым зрением уловила кучку людей, стоявших у понурого столба, отмечавшего, должно быть, остановку – и маленький желтый автобус с черной полосой, вопиюще похожий на похоронный, быстро и мягко проскочил мимо Лёры...

Она не успела огорчиться – хотя это было бы не огорчение, а собственно, крушение.  
- Что вы стоите?! Бегите!! – грянул вдруг рядом чей-то голос.

- Бесплезно, далеко, – механически ответила она и только потом увидела справа невесть откуда взявшегося парня в военной или полувоенной форме.

- Успеем, бежим! – и, прежде чем Лёра успела выразить свое негативное отношение к этим бессмысленным словам, парень железной хваткой вцепился ей в руку и рванулся вперед, таща ее за собой.

Тут Лёра поняла, что ни утром к первому автобусу, ни днем от неизвестного зверя не бегала достаточно быстро. Вот это был бег! В ушах засвистело, перед глазами все слилось, а в голове спуталось: Лёра не знала, где ее ноги, и как она ими двигает, ей казалось, что она вовсе не дышит, а летит на одном дыхании... В какой-то момент она поняла, что стоит, стоит перед открытой еще задней дверью автобуса, а сзади ее со всей силы толкают вперед и вверх, на ступеньку... Не удержав равновесия, она с размаху упала коленями на вторую, а руками на верхнюю ступеньку, и резкой болью дернула присохшая было рана, а позади хлопнули сомкнувшиеся двери...

Изрядно тряхнув, как полагается, свое содержимое, автобус тронулся.

Ушибленная Лёра поднялась, уцепившись за поручень, и вспомнила про парня – где он? Рядом его не оказалось.

«Меня втокнул, а сам не успел, бедняга», – сообразила она и крикнула вперед:

- Остановите, остановите! Там парень не успел!

Автобус притормозил было, но мужчина, сидевший с корзиной на заднем сиденье, недоуменно глянув сначала назад, а потом на Лёру, сказал укоризненно:

- Чего разоралась? Нет там никого. Едь, водила, ложная тревога, все на борту...

Лёра бросилась к заднему стеклу: спокойно убегала меж леса серая дорога, и пейзаж не оживлялся ни единым человеческим силуэтом...

«Есть еще порядочные мужики на свете, – подумалось Лёре. – Надо же, самому-то, оказывается, и не нужно было ехать! Меня доволот, а сам в лес свернул...».

Она рухнула на ближайшее сиденье и привалилась головой к подернутому дымкой стеклу. Хотела собраться с мыслями, но они вдруг начали разбредаться, меркнуть... Она знала, что должна вспомнить что-то важное, связанное с Марфой, и силилась выкопать это из памяти, но там только мерцали, потухая, чьи-то лица, обрывки фраз, громоздилась уже фантастические образы...

Голова Лёры упала на грудь, сумка соскользнула с колен, и на целых два с лишним часа она рассталась со своим назойливо свершавшимся бенефисом...

\* \* \*

- Девушка, я мой район как свои пять пальцев знаю! Нет, говорю вам, здесь никакой избушки! Вы дорогу перепутали, – в десятый раз повторял Лёре милицейский капитан.

Вдвоем они стояли над картой района, и тоже в десятый раз Лёра вела пальцем вдоль тонкой линии, обозначавшей проклятую дорогу, останавливаясь примерно посередине.

- Я в своем уме еще! – заклинала она. – Я только что оттуда! Мне что, по-вашему, приснилось? Вот деревня, откуда мы выехали, вот Смоленск. И перепутать тут нечего, потому что дорога такая – одна!

Капитан раздражал Лёру еще и тем, что был абсолютно, мандариново рыж и носил такого же цвета усы, загнутые вниз, к подбородку. Усами он, очевидно, гордился и аккуратно ухаживал за этим своим безобразием. Лёра недолюбливала рыжих с детства, считая такой цвет ненормальностью, признаком такой же ненормальности души, своеобразным красным огнем светофора: опасайтесь, мол. Лёра была уверена, что все поголовно рыжие злые, сумасшедшие и упрямые. Недаром же есть у мудрого народа поговорка: «Что я, рыжий, что ли?!» – предполагающая без сомнений за рыжими способность совершать дурные и дурацкие поступки.

Капитан этому предположению соответствовал вполне. С самого начала он уперся на том, что «нет, потому что не может быть» – и стоял на своем каменно, не принимая в расчет ни клятв, ни доказательств.

- Хорошо, я что, по-вашему, все это выдумала?! – вскричала, наконец, отчаявшаяся Лёра.

- Может, и выдумали, кто вас знает. Много таких шутников, – невозмутимо ответил капитан,

- Так что же теперь – им умереть там?! Из-за того, что вы мне не верите?! – заорала Лёра, готовая зарыдать от бессилия.

- А вы, гражданочка, потише тут. Не буяньте, а то я, знаете, и меры принять могу.

Лёра задохнулась:

- Что-о?! Ме-еры?! Да вы...

Ветхая дверь деревянного строения распахнулась, и на пороге появился веселый румяный молодой человек.

- О чем сыр-бор? – с ходу приветливо спросил он. – Что, Михалыч, преступницу изловил в кои-то веки?

- Вот, – подскочил капитан. – Вот. Вот он вам докажет. Он как раз на том вертолете пожарном летает, который вам нужен. Пять лет летает и сверху все эти леса сто раз видел. Поди сюда, Василий, глянь. Есть тут дом или нет?

Василий недоуменно склонился над картой, посмотрел и уверенно ответил:

- Нет.

- Вот! – торжествующе прогудел капитан. – Нету! А она говорит, есть.

И тут произошла странная вещь. Вместо того, чтобы безоговорочно встать на сторону милиционера, Василий выпрямился и внимательно, может, даже пронзительно, посмотрел Лёре в глаза.

- Вы там были? – быстро спросил он. – Рассказывайте, что случилось.

Обрадовавшись его дружелюбию, Лёра в двух словах толково объяснила Василию всю ситуацию.

- Дела-а... – протянул и он и оборотился к рыжему: – Лететь надо, Михалыч.

«Наконец-то приличный человек нашелся!» – прошла у Лёры восторженная мысль.

Но «Михалыч» снова закобенился, напав на этот раз на Василия:

- Снова, что ль, твоя чертовщина? Бабку свою все слушаешь?

- Чертовщина или нет – а только у меня это второй раз уже, – покосившись на Лёру, ответил летчик. – А до меня папанька мой летал, так у него – раз шесть было.

- Да вы просто дураки оба свихнутые! – взвился капитан. – А батя твой меньше бы за воротник закладывал – не мерещилось бы ему...

Сбросив со счетов рыжего болвана, Лёра подскочила к Василию и уцепилась за него:

- Летите, пожалуйста, летите! Я не могу уж больше – хоть меня пожалейте!

Парень еще раз окинул Лёру глубоким и странным взглядом:

- Не летите, а летим, девушка. Без вас не найти.

При мысли о том, что ей придется лететь в вертолете, Лёра испытала отчетливый приступ тошноты, но, поскольку рукой она уже мысленно давно на все махнула, то справилась с собой:

- Да, летим... Что поделаешь – судьба моя такая глупая...

Михалыч тихо матюгнулся, сплюнул и принялся натягивать форменную куртку, бормоча себе под нос что-то на тему о том, что «связался с психами – так хорошего не жди...».

Лёра и раньше слышала, что летать на вертолете – вещь ужасная, но что ужасная настолько – предположить не могла. Казалось, все до единой внутренности сорвались с места и сбились в кучу. Ежесекундно горло сжимали спазмы, барабанные перепонки лопались от грохота, глянуть вниз было страшно. Она сидела в кабине рядом с Василием и настолько была поглощена собственным страданием, что не сразу откликнулась, когда он прокричал ей в ухо:

- Дорога! Смотрите, «узка» в кювете валяется: не ваша ли?

Переселив себя, Лёра посмотрела: точно. Она явно различила торчавшие вверх четыре колеса за бугорком. Кивнула Василию – туда, мол, – и сразу увидела избушку. Из трубы поднимался дымок. «Томка оклемалась и печь топит – больше некому», – сообразила она и с торжеством обернулась к капитану, чьи рыжие усы торчали позади между ними:

- Что я говорила?! Вы и теперь станете утверждать, что знаете район как свои пять пальцев?!

И вдруг вместо ответа Михалыч резко отпрянул от нее, стянул шапку и широко перекрестился.

Лёра недоуменно повернулась к Василию и встретила с ним глазами. Он смотрел на нее так, словно хотел взглядом просверлить ей мозги. Сглотнул и спросил:

- Вы... точно видите? – его голос дрогнул.

- Господи, да конечно! Хотя и темнеет, но видимость-то хорошая! Вон – дом, а вон – дым.

- Зависаю, – надломленно отозвался Василий. – Лезьте на-зад. Поможете Михалычу «люльку» сбросить и трап тоже...

К тому моменту Лёра находилась уже в том состоянии, когда человек перестает рассуждать и взвешивать. Редко, но в жизни каждого действительно случаются моменты, когда явь путается с бредом, и таинственный защитный клапан психики срабатывает, как во сне. «Это ведь сон, и в любой момент можно проснуться!» – вдруг понимает человек, в кошмаре прижатый в угол многочисленной вражеской ратью. И вот, он бестрепетно бросается в безнадежный бой – безнадежный, будь дело наяву – и тьма вражья легко падает одесную; в чудесном упоении спящий знает, что это ему никак не отойдется, а вместо этого он проснется на своем уютном диване.

Вот и Леру минувшие сутки доконали. Она жила уже не на втором или третьем, а на десятом дыхании, не подозревая, что, когда оно иссякает у других людей, многие просто падают за смертью. Может быть, так случается на войне в лютой час, когда явления, немислимые в миру, становятся привычными и не вызывают удивления.

Когда «люлька» – нечто вроде гамака на длинном тросе, приспособление для подъема пострадавших на борт – была сброшена вниз, и за нею последовал трап, рыжий Михалыч неожиданно и безапелляционно заявил:

- Ну, полезай, что ли.

Лёре полагалось обомлеть, возмутиться, обозвать его рыжей сволочью и трусливым мерзавцем, призвать в свидетели беспредела Василия и вообще остановить как-то подобное надругательство над своим женским естеством. И все это, правда, пронеслось в мыслях Лёры – но лишь на мгновение. Затем она услышала прерывистый ор летчика: «Да быстрее же! Когда так висим – горючего в сто раз больше тратим!», и обнаружила, что бесстрашно лежит животом на полу вертолета, а ноги ее свисают в открытую дверь над бездной и нащупывают ненадежную перекладину трапа. Нащупали – и Лёра поползла вниз. Она уже не чувствовала, как трап качается на ветру, как даже сквозь рукавицы режет ладони железный трос – она только автоматически передвигалась до тех пор, пока не почувствовала, что перекладины под ногами кончились. Больше ничего в этом мире не страшась – страх при некоторых обстоятельствах становится вообще слишком мелким чувством – она разжала руки.

Земля оказалась близко, и Лёра даже не упала. Она знала, что нужно развернуться и бежать по лужайке к домику – развернулась и побежала. Распахнула дверь в сени, дверь в горницу двумя резкими толчками. Ее глазам предстала картина: Тома посреди комнаты с поленом в руках и двое на лавках – вытянутые и бледные.

- Все живы? – спросила она не своим голосом.

- В... все... – выдавила Тома, выпучив глаза: очевидно, в лице и голосе Лёры что-то изменилось до такой степени, что она уже пугала людей.

- Берем. Несем, – скомандовала Лёра прежним манером, и Тома, боясь о чем-нибудь спросить, послушно уронила полено и, все так же таращась на Лёру, кинулась к лежащему без признаков жизни Толику.

Взяли, поволокли; как мешок, погрузили в «люльку»; Лёра никогда не смогла вспомнить – было ли ей при этом тяжело.

Она дернула трос несколько раз – «люлька» с грузом послушно пошла вверх.

- За Верой, – хрипло приказала Лёра.

Тома кивнула и затрусилась впереди, поминутно оглядываясь на нее и продолжая для убедительности кивать.

Подхватили Веру. Она вышла из забытья, улыбнулась и пробормотала:

- Ох, Лёрочка, милая, бедная ты моя... – но Лёра никак не отреагировала, глядя мимо, и Вера была погружена тем же макарон.

- Неси ребенка, – сказала Лёра, увидев, что больная начала медленно подниматься.

- Чичас, – отважилась ответить Тома и исчезла.

Когда она вернулась, «люлька» была уже на прежнем месте. Не ожидая более указаний, Тома самостоятельно взгромоздилась туда, взяла у Лёры сверток с ребенком и, в свою очередь, отправилась в воздушное путешествие. Лёра же с третьей попытки взобралась на трап и, обращаясь с ним уже как с родным, полезла вверх и лезла так до тех пор, пока не наткнулась на поросшие густым рыжим мехом руки. Руки довольно грубо подхватили ее под мышки и потянули вверх; мелькнули невозможные кривые морковки на белом веснушчатом лице – и Лёра высвободилась, сомнамбулически шагнула, наступила на что-то живое и охнувшее, но разбираться не было ни сил, ни желания. Она вдруг встала на четвереньки и проворно поползла к какой-то большой тряпке, валявшейся на железном полу. Тряпка оказалась старой курткой, насквозь пропитанной керосином и грязью. В нее-то чистюля-Лёра и ткнулась головой, скорчившись на полу, и тихо подвывала там весь обратный путь, не желая ни видеть, ни слышать, ни почувствовать.

\* \* \*

Больница в райцентре представляла собой длинное сооружение из потемневших от времени бревен, и скорей походило на пожарный сарай, по недоразумению двухэтажный. Роль приемного покоя играли сырые и холодные сени, где стояло несколько покрытых оранжевой клеенкой кушеток, между которыми мыкалась шелудивая полосатая кошка; центр украшал бывший когда-то эмалированным таз, и вид его содержимого мгновенно вызывал жестокие желудочные спазмы у непривычных. Все это освещалось единственной лампочкой ватт на сто.

В углу, на одной из кушеток, билась в конвульсиях Лёра. Она и без врачей понимала, что это: известная «следовая реакция нервной системы на потрясение» – но легче от этого не становилось. Она рыдала так, как могут только люди, у которых случилось огромное и неизбывное горе, сотрясалась всем организмом, словно кто-то влез в нее и изо всех сил тряс изнутри. Лёра выла, пока не перехватывало дыхание, судорожно набирала воздух и начинала реветь и всхлипывать, как по покойнику. Слезы давно кончились, и она голосила всухую, отчего в глазах лопались сосуды и бухали в голове жесткие молотки. И все-таки сознание работало, добавляя ей пищи для истерики. По мнению Лёры, когда человек так убивается, совершенно невозможно просто пройти мимо него, а необходимо остановиться, пожалеть и оказать помощь. К ней же никто ни разу не подошел; с тех пор, как ей перевязали руку, а болящих куда-то увезли, никто даже не взглянул в ее сторону. И оттого чувство несправедливой заброшенности выросло в огромный твердый комок – и она давилась им, пуще всех перенесенных ужасов оскорбленная этой несправедливостью. Истерика ее, по правде сказать, была несколько преувеличенной: Лёра неосознанно отпустила вожжи, хотя, приложив некоторое усилие, могла бы, вероятно, и вовсе избежать ее – но тогда, возможно, слегла бы «в горячке» – кто знает.

Перед ней замаячил, наконец, белый силуэт: появился зритель.

- В-во-во-ды... – драматически проиккала Лёра, и тут искры полетели у нее из глаз: она даже не сразу поняла, что получила по физиономии, а когда поняла и хотела возмутиться, то искры полетели вторично: ей снова хорошенько заехали.

Рыдания вмиг прекратились, Лёра широко открыла глаза, еще не вполне поверив тому, что наградой за все ее подвиги вместо ордена стали две тяжелые заушины.

- Ну, прооралась, или еще двинуть? – деловито осведомилась крепкая старуха в белом халате.

Лёра молчала, не рискнув отвечать.

- То-то. Теперь можно и воды, – в большой руке старухи возник стакан.

Лёра взяла его и залпом выпила воду.

- Я тут санитаркой, баба Надя меня зовут, – объяснила обидчица. – Ты не серчай, что врезала-то. Иначе ты бы еще час не прокинулась. Не очень-то и больно. Ну, как, лучше?

Лёра поняла, что после всего случившегося следует принимать вещи такими, какие они есть. Она сказала:

- Спасибо.

Баба Надя улыбнулась, невольно похваставшись не очень удачными зубными протезами:

- Ну и ладушки. Теперь в инфекционный бокс тебя поведу. Выспаться тебе надо как следует.

В боксе – клетушке два на два – стояла одна кровать, и баба Надя ловко застелила ее бельем. Было тепло, даже жарко. Все еще вздрагивая, Лёра кое-как скинула одежду и повалилась в постель. Она еще вздрагивала, но уже отключалась. Баба Надя заботливо подоткнула одеяло и на цыпочках вышла.

\* \* \*

...Окно было завешено белой-белой марлей, оттого и свет ноябрьского дня, пробивавшийся в бокс, не выглядел таким безнадежным, каким был в действительности. Несколько минут Лёра отсутствующе глядела на марлю, не пытаясь ничего сообразить: она проснулась, но мысль за ней не успела.

Толчком к полному пробуждению оказалось тиканье наручных часиков прямо около уха. Лёра подняла руку и посмотрела: 14-12, а в окошечке на месте тройки две буквы: «ср».

«Среда», – подумала Лёра. Мысли проснулись, закопошились. Нечто большое и значительное пряталось за этим словом. Лёра нахмурилась и без усилий вспомнила: да, среда, «Серебряная дорога», и Оля Котова доигрывает четвертый акт в пустом зале. Хорошо играет, душевно. За две недели вжилась в роль намертво, по Станиславскому. И Любовь Максимовна улыбается и думает: «И на кой мне эта Валерия, тем более, что она и не явилась, когда Котова – находка. От добра добра не ищут».

Эта картина, так ярко вставшая перед Лёрой, должна была снова бросить ее в отчаянье, но даже сердце не забилося быстрее: все это осталось там, за тысячу километров, и совершенно никакого отношения не могло иметь к этой марлевой занавеске, молочному свету, к минувшим полутора суткам. К тем четверым людям, помещавшимся где-то рядом в этом тухляком здании – людям, которых она не любила, но которые за последние часы стали родственно близки ей. Их теперь не забудешь, не скинешь со счетов... Лёра чем-то была обязана им до гробовой доски, чувствовала это, но не хотела сейчас задумываться. Она решительно поднялась, кое-как натянула выглядевшую очень несвежей (а в действительности непристойно грязную) одежду и направилась на поиски Веры.

Вера нашлась в маленькой женской палате, где четыре койки – по одной в каждом углу – были заняты страдальцами, закованными в гипс на разный манер. Если б не доминирующий белый цвет, а, скажем, красные отблески жаровни, – а ее-то и не доставало для полного впечатления – то помещение можно было бы принять не за палату травматологии, а за инквизиторский подвал.

Что касается положения Веры, то казалось, она висит на разновидности дыбы – и, в сущности, так оно и было, потому что приспособление, в котором она была садистски закреплена, предназначалось для «вытяжки». Обе ноги были приподняты вверх под углом, и от них, цепляясь за различные подпорки, тянулись блестящие проволоки. За изголовьем кровати болталась гиря – настоящая черная гиря. Лёра попыталась вспомнить, где она такое уже видела. Оказалось, в мультфильме «Ну, погоди!» – и это открытие вызвало в ней нервный внутренний смешок. Гиря, правда, не грозила свалиться Вере на голову, но сама мысль о том, что человеку предстоит провести на дыбе несколько недель (в то время как и за четверть часа на ней пытаемые рассказывали настоящие и выдуманные государственные тайны), заставляла волосы шевелиться.

Сердце у Леры сжалось, когда она осторожно присела на край Вериного страдальческого ложа. Но тут же она подскочила: даже от ее незначительного веса мгновенно заколебалась продавленная панцирная сетка, и вся конструкция угрожающе пришла в движение. Вера, вскрикнув, открыла глаза:

- Ой, Вера, прости, я нечаянно! – перепугалась Лёра.

- Да что ты, что ты, – слабо отозвалась несчастная. – Теперь уж не так худо.

- Я, Вер, проститься пришла. Уезжаю.

Лёра сидела теперь на низкой табуретке, найденной за кроватью. Она впервые видела Веру без уродующего платка и с удивлением обнаружила, что у той чудные светлые волосы – пышные локоны, целая грива, настоящее сокровище. Лёра не удержалась:

- Вер, ну и волосы у тебя! Это ж красота-то какая!

Подлый некто тот же час подсказал добавить: «И ты их под драный платок прячешь!» – но она не послушалась, зная, что даже крошечный укол может сейчас переполнить чашу страданий Веры.

- Да, видишь, беда какая. Всю жизнь не знаю, что с ними делать, – пожаловалась Вера. – Хоть наголо обрейся, да грех.

Лёра готова была поручиться, что она говорит искренне, но такую тему ей поддержать было нечем. Она спросила:

- Ты очень мучаешься здесь?

- Нет, что ты! Я счастлива. Знаешь, что врач сказал? Он сказал, что если бы еще на несколько часов позже я поступила, то, скорей всего, вообще без ног осталась бы. Без обеих. Там уже процесс какой-то начинался, я только забыла, какой.

«На несколько часов позже...». Лёру больно царапнуло по сердцу. Она не знала, нужно ли говорить, но не смогла смолчать:

- Вер, а я ведь тебя именно... Чуть – того... Без ног не оставила.

- Это ты о том, что я на твоём месте ехала? Ну, это ж не твоя вина, так Бог судил. Может, наказал он меня моими ногами, за то, что я твоих пожалеть не хотела... Мне, Лёра, и правда, очень не хотелось тот мешок на ноги. А вот – гирю получила. Сама я виновата, ты себя не мучь. Это тебе, наоборот, из-за всех нас досталось. Господи, как ты с нами намучилась, бедная! И, главное, даже «спасибо» за это не скажешь. За такое – не скажешь. Нельзя «спасибо» за конфету и за жизнь – одинаково. Могу только сказать, что до смерти теперь буду за тебя отдельную молитву читать. И прости уж, Лёра, за все, что мы тебе причинили...

Та же Вера лежала перед Лёрой, та же Вера, с которой всего двое суток назад она пикировалась в машине, которая вздымала в ее душе глухую злобу – за постное лицо, за сладкий голос, за фанатичную ограниченность. Ничего этого в ней больше не осталось – как метлой смело. Лежало на золотых волосах измученное милое женское лицо с заострившимися от страданий чертами, коричневые круги обвели прозрачные, почти без цвета, глаза. Женщина просила у Леры прощения, хотя ровно ни в чем не была виновата. Лёра решила:

- Вера, ты обо мне хорошо не думай... Я ведь ненавидела тебя, Вера. Может, больше, чем даже Толика с Томой. Они уж очень явные отрицательные герои, а ты – ты была скрытым. Я врага в тебе чувствовала. Я зла тебе желала. Самого настоящего... И без ног чуть не оставила... Не в машине, а там, в лесу... – и только сказав эти слова, Лёра поняла, что и правда хотела, чтоб Вера осталась инвалидом, и может быть, отчасти именно ради этого рвалась в Смоленск через ельник, а не в райцентр, указанный Марфой...

Слезы безо всякой подготовки и предварительного щипания хлынули из глаз:

- Ох, Вера, какая ж я сволочь!

- Ты что, нас бросить хотела? Ни в жизнь этому не поверю!

- Бросить – нет, – сквозь рыдания отвечала Лёра. – Я хуже хотела. Я ведь женщину в лесу встретила, Марфу. Она мне дорогу сюда показала – на три часа ходу. И другую, на восемь примерно часов, в Смоленск... А мне, ты же знаешь, нужно было сегодня уже быть в Петербурге. Роль эта... Пропади она пропадом... Да и пропала уж... И я решила в Смоленск идти. Нет, я бы сообщила о вас, конечно... И совесть бы меня не мучила... Если

бы бросила – мучила бы... А я просто хотела ничего о вас больше не знать. И Толька бы помер, а сейчас в реанимации лежит, жив, говорят, будет... И девчонка Томкина умерла бы, а жива-здоровая, хоть и не знаю, к чему. Но я ничего этого знать не хотела, я в Смоленск шла! Вот я какая, Вера, а ты прощения у меня просишь! – Лёра уткнулась к ней в подушку и стала тихо, равномерно всхлипывать.

- Но ведь пришла – сюда? И с вертолета лазила. Совесть, значит, всё-таки замучила? – без выражения спросила Вера.

- Совесть? – приподнялась Лёра, соображая. – Да нет, не совесть, точно не совесть... Просто все сложилось как-то... Руку я поранила, ножом. Жаль мне себя стало. Решила я что-то вроде: «Пусть еще хуже будет!» – и пошла как короче, вот и всё... – и она вновь спрятала лицо в подушку.

Вера пыталась как-то изловчиться, вывернуться, и ей это удалось, хотя она сразу вся перекосилась от боли. Она пересилила себя и тихонько коснулась Лёриной головы:

- Тебя что, обидел, что ли, кто-нибудь сильно? В жизни?

Лёра закивала головой, все еще пряча лицо:

- Все обидели, кого знала.

- И родители?

- Нет... Хотя... обидели, конечно: работа им дороже меня оказалась... Они геологи были, в тайге пропали, когда мне семь лет было. Меня тети воспитывали – да что воспитывали! – так, между делом, от одной к другой перекидывали, а теперь и вовсе не видимся... Театр сделала – и тот чуть не отняли... Муж к молоденькой сбежал... Жизнь какая-то половинчатая... В церковь пришла – поп прогнал, за то, что актриса... И ведь им всем хорошо теперь – тем, кто меня перешагнул, Вера! Им хорошо, а я – хоть вешайся!

- На весь род людской обижена ты, Лёрочка, – прошептала Вера. – И обозлилась, коркой покрылась, бывает... Но сейчас корка твоя лопнула. И горечь слезами выходит. Так что плачь, плачь. Отплачешься – и опять жить начнешь. Лет-то сколько тебе?

- Тридцать.

- Бедная ты, маленькая девочка, – проговорила Вера, на вид Лёрина ровесница. – Утешить бы тебя – да нечем...

Лёра поднялась, вытираясь рукавом и отводя глаза. Ей было стыдно: привязанная к ужасному сооружению Вера, еле шевелившая головой и руками, утешала ее, здоровую двужильную бабу.

- Вот что, – деловито сказала вдруг Вера. – Тебе подарок последний раз давно дарили?

Лёра честно попыталась вспомнить, но не смогла. Цветы и конфеты не считались, а муж ей подарков не делал, потому что не умел. Он совал ей деньги и говорил: «Купи себе сама, что понравится», – и она считала такое положение дел весьма толковым: действительно, мало ли, что он там сдуру выберет! Подружки приходили на дни рождения с тортом или бутылкой – но ведь это же другое... И она поняла: ей никто никогда не дарил подарков. Лёра сама поразилась – как такое может быть! – и подняла изумленный взгляд на Веру:

- Мне... Мне, кажется, никогда не дарили... И правда... Я об этом и не думала...

- А ты хотела бы – получить подарки?

- Не знаю, – честно ответила Лёра, – не пробовала.

Возбужденная своей идеей Вера даже приподнялась на локтях:

- Лёра, запиши мне свой адрес! Я, как только домой вернусь, сразу вышлю тебе подарки!

Недоверчиво глядя на нее, Лёра достала из сумки блокнот, вырвала страницу, красиво написала свой адрес и положила листок Вере в тумбочку. Вера воодушевлено за ней наблюдала и, когда Лёра закончила, притянула ее обратно к себе на подушку и стала гладить по голове. Лёра опять начала плакать, но на сей раз с удовольствием: правда, что ли, многолетняя горечь выходила? А Вера, совершенно забыв про свои боли, продолжала поглаживать ее и мечтательно приговаривать:

- Вот-вот... Я пришлю тебе подарок... Тебе понравится, ты ведь актриса... У меня после мамы много всего осталось: бусы там, серьги, колечки всякие... Не золотые,

простые, но красивые, старинные... Бабушкины еще. Я-то не ношу, а ты же любишь... Любишь ведь?

- Угум, – отозвалась Лёра сквозь сладкие слезы.

- Вот и пришло. Носи на здоровье, тещься, дитятко... И еще – я письмо тебе напишу.

А ты мне ответишь... Ответишь ведь?

- Угум.

- Во-от... И будем мы с тобой переписываться. А потом я и в гости к тебе приеду, летом, в отпуск... И ты меня в Эрмитаж поведешь... И все соборы ваши красивые покажешь... Покажешь?

- Угум.

- И пойду я твой спектакль смотреть, где ты в главной роли будешь играть... королеву... Ты королев играешь?

- Угум.

- А что священник тебя прогнал – так ты другого найдешь, не все сразу... А потом ты замуж выйдешь, за хорошего и доброго, который не будет тебя бить, а будет дарить подарки...

Лера вырвалась:

- Ну это уж – извините! – и обе они, посмотрев друг на друга, согласно рассмеялись:

Вера – тихо, боясь навредить себе, Лёра – почти звонко, как в юности...

- Да вы, девушка, видать, волшебница! – вдруг раздался позади голос.

Лёра обернулась и увидела в дверях пожилую медсестру, направлявшуюся к ним:

- Во всю жизнь мою не видала такого, чтоб больной на вытяжке в первые сутки смеялся! Всё больше орут, а мужики – те матюгаются.

Медсестра принялась раскладывать на тумбочке ампулы.

- Ну, иди, Лёра, – сдержанно сказала Вера. – Не поминай лихом. Ангела тебе Хранителя в дорогу. Жди подарка с письмом, и все будет хорошо. Уж не знаю, на чем моя уверенность основана, а только чувство у меня: все теперь пойдет у тебя по-новому, хорошо пойдет.

Лёра нагнулась и осторожно поцеловала бледную щеку:

- Выздоровливай, Веруша.

Боясь опять заплакать, она жалко улыбнулась и вышла навсегда.

Завернула еще и к Томе, помещавшейся в особом отделении «мамаш», и нашла ее в обычном состоянии – «под градусом». Загадка, откуда она и здесь смогла достать водку, была абсолютно неразрешимой. При этом Томе все вокруг не нравилось, она неразборчиво ругалась себе под нос, а Лёру, кажется, и вовсе не узнала...

Потом удалось увидеть и Толика – в реанимации, через стеклянную дверь.

Поразительно, но он тоже заметил Лёру и в знак приветствия слабо шевельнул единственной незагипсованной частью тела – левой рукой. Все остальное, что не скрывала простыня, скрывал гипс. Лёра улыбнулась ему и, составив рукопожатие из своих собственных рук, потрясла ими на уровне груди, что должно было означать: «Держись, мужик, хорошо держись!» – и ее отпихнули от двери, запретив далее тревожить больного.

Лёра вышла в ноябрьский день. Небо, наконец, прорвало, косо летели снего колючие снежинки, от которых хотелось прятать лицо. Быстро шли мышинового цвета тучи. Зябкие руки промозглого холода тотчас же бесцеремонно обшарили беззащитное тело.

«Слава тебе, Господи, все хорошо», – подумала Лёра, делая первый шаг с крыльца. Сразу же она провалилась по щиколотку в лужу, обманчиво подернутую ледком. Лед весело хрустнул под ногой и, встряхнув для бодрости сумку на плече, Лёра зашагала прочь.

Эпилог  
Марфа

В женской послеоперационной палате стояла удручающая тишина, нарушаемая только шлепаньем половой тряпки, да позвякиванием жестяного ведра: баба Надя умело вытирала пол.

Четверо оперированных терпеливо ожидали конца процедуры: учительница русского языка Анна Игоревна, которую разрезали, ахнули и просто зашили, но о последнем она не знала, считая, что перенесла успешную операцию; одиннадцатиклассница Тоня, неделю назад расставшаяся с аппендиксом и ожидавшая завтра выписки; тридцатилетняя Лена Первая после внematочной и ее ровесница Лена Вторая, которой удалили ущемленную грыжу – она надорвалась, когда самостоятельно разгружала уголь для своего котла.

Тоня чувствовала себя уже совсем здоровой, и ей тяжело приходилось среди хмурых, углубленных в себя старших женщин. Чтобы развлечься, она решила завести разговор:

- А что, баб Надь, сестра говорит, в травму тяжелых привезли, на вертолете?

- И-и! – охотно отозвалась санитарка. – Еще каких тяжелых! У мужика – грудная клетка и ключица, почитай всмятку – ан нет, дышит, живучий, видать. А у бабы – сложные переломы обеих ног. Сейчас на вытяжке лежит. Тоже удовольствие... И еще одна с ними – родильница с девочкой. Баба-то что, а вот дите не уродилось: вместо стопочки-то – прям лапа, что твой тюлень... Правда, мамаша-то пьющая, сразу видно. Хорошо, хоть не крокодила родила...

- Ужас какой! А почему – на вертолете?

- Да уж на вертолете. Васька, внучок мой, и доставил. И еще – актрису, с гастролей ехала, но у той все благополучно, руку вот только ей перевязали, ушла уже...

Тоня аж подпрыгнула на своей писклявой койке:

- Актрису?! Известную?! Ой, а как это она с ними, а? Ой, баб Надь, расскажите!

- Ну, про «известную» – не знаю. Из Москвы, вроде, а может, из Питера. Фамилию не сказала, зовут Лёрой. Валерия, значит.

- Молодая, красивая?

- Молодая-то – молодая, для меня, значит. Ну а для тебя, Тонька, старуха она. Тридцатник-то уж наверняка стукнуло. А красивая или нет – не разобрала я: она в приемном так белугой выла, что рожа вся распухла и красная стала, как свекла. Какая уж там красота – расстройство одно.

- Ой, баб Надь, а чего она редела-то? Рука у ней болела сильно, что ли?

- Да какая там рука, она про нее и думать забыла. Пережила много – вот и выла опосля. Раньше-то некогда было.

Тоня уже сидела на своей койке и ерзала от любопытства:

- Пережила – что? Чего вы всё не договариваете, а? Ну расскажите подробнее, всем интересно!

Насчет последнего она погорячилась: больше никто в палате приключениями актрисы не интересовался. Анна Игоревна, закрывшись локтем, досадливо пережидала посторонний шум, а Лены, свесившись друг к другу через проход, шепотом обсуждали что-то свое. Но баба Надя тоже хотела отдохнуть, да и рассказать была не прочь: уж очень чудной рассказ выходил, если Васька перед полетом грамм двести не принял, конечно. Да если и принял, то сын раньше, помнится, тоже такое рассказывал – во сне не приснится... Она отжала тряпку и, утерши лоб белым рукавом, расположилась на стуле:

- Ну, рассказ-то мой не вчера начинается, а давно, в сорок первом году, когда немец здесь стоял...

- Так, теперь надолго... – страдальчески пробормотала себе под нос Анна Игоревна.

Зато Лены перестали шушукаться и откинулись на подушки, довольные неожиданным развлечением. Тоня, раскрыв рот, впилась в бабу Надю глазами, всем своим видом торопя ее...

- Ну, девчонкой я тогда была совсем, двенадцатый годок шел. И не здесь жила, а в деревне там, за лесом, далеко отсюда. В лесу партизаны были, немцы смерть как их боялись. А к партизанам самолетик летал, маленький такой. Может, возил им чего – не знаю, И однажды подбили немцы самолет! Так и вспыхнул, в лес свалился, и там гроыхнуло так – бум! – взорвался, значит. А летчик на парашюте спрыгнул. Купол белый я сама в отсветах пламени видела – и тоже в лес. Помню, подумала я: ну, всё, пропал

парень. Потому как немцы сразу взвод с собаками за ним выслали. А куда он там в лесу уйдет ночью? Враз догонят. Жаль мне его стало – да что поделаешь. Потом смотрю – немцы возвращаются, а летчика нет – не поймали. Парашют нашли, а он исчез. Только успели мы с сестрами порадоваться, как вдруг Колька бежит. Был у нас такой Колька-тракторист, сволочь, прости Господи, и от армии отбрехался как-то. Бежит – и прям к ихнему переводчику. Я, говорит, знаю-де, где летчика искать: как пить дать, он у Марфы-лесничихи. А Марфу ту знала я. На кордоне жила она с дитями, как Иван ейный на фронт ушел. Могла, конечно, Марфа летчика к себе забрать, чтоб к партизанам потом отправить. Хорошая баба была: дородная такая, коса – с оглоблю. Колька на ней жениться хотел, сватался, да отшила она его, за Ивана пошла. Вот и точил на нее зуб за это Колька. Сквитаться решил...

- Слушайте, баба Надя! – раздраженно прервала Анна Игоревна. – Вас, кажется, про актрису спрашивали. А вы в воспоминания о войне ударились. Покороче нельзя как-нибудь? А то ведь вы тут роман целый развернули – прямо писатель!

- Да чего ты, Игоревна! Лежишь себе – и лежи! Не тихий час! Не затыкай людям рот-то! – наперебой зашикали Лены.

- Ой, дальше, дальше, баба Надя! – подхватила разругавшаяся Тоня.

- Ну, что дальше... Известно, что... Повел их Колька к Марфе.

- Вот ведь гад! Предатель какой! – не удержалась Лена Первая. – Бедная Марфа, представляю, что с ней сделали!

- А вот то-то и оно, что не сделали! – торжествующе провозгласила баба Надя. – Пришли на поляну, где дом-то ее стоял – а дома-то и нету! Трава одна растет – и ничего!

- Ну, это уже, положим, сказки, – опять подала голос учительница. – Поляну перепутал ваш Колька – вот и все.

- Да какое там перепутал! Какое – перепутал! – замахала руками баба Надя. – Да он этот лес с детства знал! И все мы знали! А Колька еще и охотник был! Не мог он перепутать, все отлично знали, где лесник живет!

- Тогда я не понимаю, куда дом делся.

- А кто ж понимал! Никто не понял, и Колька первый. Дорого же он за это расплатился: его утром на виселице вздернули. Как визжал, бедный, когда волокли! «Та поляна, – кричит, – та!! И сосну знакомую, и овражек – все видел! Не знаю, куда дом проклятый сгинул, не знаю!! Не виноват я ни в чем!». Но его, конечно, не послушали... А Марфа и вправду пропала. И детки ее, и летчик – все пропали! Так больше никто и не слышал...

- Ну, к партизанам ушли... – предположила Лена Вторая.

- Может, и ушли... А может, и не ушли... Может, там же, где и дом, остались.

- И все-таки я совершенно не понимаю – причем здесь сегодняшняя актриса и эти пострадавшие, – упорствовала Анна Игоревна. – Сказка ваша красивая, конечно, легенда скорее, но к нашим дням она, определенно, никак не относится.

- Так она ж не закончилась еще! – возмутилась баба Надя. – Это, Игоревна, считай, только присказка была.

- Угу. Представляю себе, – скептически процедила та.

- Так вот, – продолжала увлекшаяся санитарка. – Вроде, на том все и кончилось. Поговорили по деревьям – да и забыли. Своего горя хватало. А как годы после войны прошли – так случаи разные происходить стали... Я-то почему о них знаю: сын мой средний, Сашка, на вертолетчика выучился, при пожарной тут в районе работал. Сами знаете: то лес горит, то турист пропадет... То спасают кого, то ищут. И вот что бывало. Сашка-то мне, матери, под секретом рассказывал, потому как в те времена за такое и в психушку угодить недолго было – а уж с полетов точно бы сняли. Словом, подстрелился раз охотник приезжий невзначай. Совсем уж помирать собрался. Другой на себе тащил его, да заблудился, как на грех. Казалось бы, крышка, да вдруг видит: дом в лесу стоит. Пустой. А в доме – все, чего душа пожелает: бинты нашлись, лекарства даже, еда тоже. Как мог, оказал помощь товарищу – да побрел людей искать. А в лесу женщину встретил – она ему дорогу в район и показала. Полетел Сашка мой с другим парнем на своем вертолете. Вдруг охотник кричит: вон домик-то! Сашка смотрит – а внизу только лес.

Напарник тоже смотрит – тоже только лес. И давай все орать друг на друга. Охотник орет – вот, мол, домик, слепые вы оба. А они отвечают, что не они слепые, а он псих, и нет там ничего. Но трап скинули все-таки, и полез вниз второй парень-то. Спускаться было стал, а только через минуту обратно влез. Трясется, белый как мел, глаза на лбу. Рассказывает, а сам заикается. Оказалось, только спустился чуть – и навалился на него вдруг непроглядный туман. И если б только туман! А то ужась его такая взяла, что дыхалку сжало. Не помнит, как и обратно добрался. Ну, тут охотник плюнул, сам на трап кинулся. Немного погодя дергает. Ну, Сашка мой ничего не понял, но «люльку» с тем парнем скинули. Поднимают ее – а в ней человек раненый. А за ним охотник лезет и ругается. Такие вот дела...

- Фильм ужасов можно снимать, – откомментировала Анна Игоревна. – Ну, вы даете, баба Надя. Даже интересно. И продолжение будет?

- А как же. Это ж не один раз так было.

- Баба Надя, рассказывайте!! Женщины, не мешайте ей! – звонко крикнула Тоня. – И часто так бывало, баба Надя?

- Когда Сашка мой летал – то иногда по два раза в год, а когда – и раз в десять. И всегда одинаково. Туристы ли, грибники ли заблудятся, с охотниками ли что случится – а только, если положение их совсем уж крайнее, дальше некуда, – то находят они в лесу избушку...

- Так это легко проверить, – рассудительно заметила Лена Первая. – Пойти туда кому-нибудь и посмотреть.

- Куда пойти-то?! – воскликнула баба Надя. – В разных местах находят! То здесь, то там. Где люди в беде – там и она. Последний раз, до этого, в ста километрах отсюда была. И всегда одно и то же. Как вертолет прилетит – сверху никто ее не видит, кроме того, кто там был уже. И спуститься туда никто не может, кроме него. Сашка мой раз перекрестился – да и сам попробовал. Никакого проку: всё, как парень тот сказал: белый туман, звуки пропадают, а только жуть, как живая, кругом... А те, кто за помощью ходил, одно и то же рассказывают: встретили-де в лесу женщину, и она им путь указала. Молодая женщина, полная такая, красивая...

- Марфа! – хором выкрикнули Лены.

- Девочки, да вы что! Вы же люди современные, сами подумайте! – приподнялась Анна Игоревна и строго обернулась к бабе Наде: – Вот вы и попались, Штирлиц. Если даже допустить, что Марфа тогда уцелела и до сих пор где-то здесь в лесу живет, то ей сейчас должно быть под девяносто. И она, в любом случае, не «молодая красивая женщина», а древняя старушка. А эта история с вертолетом объясняется как-нибудь просто. Впервые, может быть, что-то действительно помешало всем увидеть дом: и туман мог быть, и испугаться мог парень. А потом – чисто психологический эффект. Сын ваш уже ждал этого, когда не заметил домика, который кто-то другой увидел. Он и внушил себе. Почувствовал то, что подсознательно собирался – вот вам и ответ. Этот феномен медицине хорошо известен... Но до актрисы мы, похоже, сегодня так и не доберемся...

Во время этой тирады баба Надя искоса глядела на учительницу с таким же точно выражением, с каким усталая мама слушает рассуждения дочки-первоклассницы. Она усмехнулась:

- А мы как раз и добрались, только ты, Игоревна, все мешаешь. Актриса-то, похоже, тоже оттуда, из Марфиного дома-то...

- А я так и думала! – восторженно крикнула Тоня и разве что не захлопала в ладоши, но вовремя сдержалась, потому что такое выражение радости вовсе не соответствовало, по ее понятиям, поведению современной девушки. – Я сразу поняла, когда вы про первый случай рассказали!

Тоня врала: догадалась она только сейчас.

- Стыдно, Колосова! – выговорила ей учительница. – Не ребенок, взрослая совсем девушка, а голову себе забиваешь. А вы, баба Надя, если уж сказками нас решили развлекать, то хоть бы при девочке поостереглись. Мы, взрослые, понимаем, что это, так сказать, народное творчество, а она-то – верит!

Тоня еще не знала, что Анна Игоревна в школу не вернется и вообще из больницы не выйдет, поэтому сочла за благо против ветра не плевать. Вот ведь наказание – с собственной училкой в одной палате оказаться! Она смолчала, смея лишь глазами умолять бабу Надю не слушать старозаветной Анны Игоревны, да и Лены поддержали:

- Да брось, Анна! При нынешнем-то телевидении это и вовсе безобидно. Как про Бабу-Ягу сказка, только из нашего времени. Валяйте, баба Надя, складно у вас выходит. А что, актриса сама вам рассказала?

Баба Надя вздохнула:

- Ничего она не рассказывала, только голосила, как кошка ошпаренная. Мне Вася говорил, внучок-то. Он, как Сашку по здоровью списали, летает теперь заместо него. Да и у Васи непервой. Сам он, правда, когда туристов, мужа с женой, поднимали, лезть не решился: помнил, как у бати вышло. А напарник его полез было – да всё то же, как и тогда. Еле живой на борт вскарабкался... Ну, а вчера вот что было: заходит Вася в милицию нашу, а там артистка эта с участковым-то рыжим друг на дружку орут. Она ему – раненые, мол, в доме, а он ей – нет там никакого дома. Васька на карту глянул – и правда, не помнит там ничего такого. И тут стукнуло его: да ведь это опять прежняя история! Рыжий участковый раньше слышать – слышал, а верить – не верил. Но полетел все-таки с ними, из интереса, может. Ну, летят вдоль дороги. Вдруг Василий смотрит: машина вверх тормашками валяется, а тут и артистка кричит – вон и дом, дескать. А Вася только лес видит... Рыжий с испугу в Бога уверовал – аж креститься начал. Слева направо, правда. И лезть даже не пробовал. Пришлось артистке. Ничего, полезла как миленькая, вообще, видать, не робкого десятка баба, даром, что городская. Она их и в дом тот после аварии притащила, и роды принимала, а после одна через весь лес топала. Видела ли Марфу – того не знаю, а только иначе как бы она сюда попала? Разве что случайно, да уж больно много случаев ей выпало, не верится что-то... Ну, в общем, сбросили «люльку» и давай подымать. И прямо у Васи-то моего на глазах из ниоткуда три взрослых человека взялись и дитё. Вот нет ничего внизу, а вдруг – откуда ни возьмись – люди... Из актрисы мы так ничего и не вытянули – надорвалась, видно. Четырнадцать часов потом в инфекционном боксе проспала. Я даже потрогать ее подходила: живая ли. А сегодня ушла она на электричку, благо дорога прямая. Только к той, что на вытяжке, и зашла ненадолго. Так что, вот какие дела, бабоньки...

- Да... – сказала Лена Первая. – Ну, и что же это, по-вашему, за домик такой таинственный, а, баба Надя? Вы-то можете какое-нибудь объяснение придумать?

- Стойте! – вдруг вскрикнула Тоня. – А актриса? Вы ей... или внук ваш... сказали? Знает она сама, где была-то, или нет?!!

- Незачем ей, – неожиданно строго ответила баба Надя.

- Как это – незачем?! – хором ахнули Лены. – Если всё так, как вы говорите, то с ней – чудо случилось! Чудо самое настоящее! – кричали они, перебивая друг друга. – А она об этом не знает! Это что ж! Несправедливость какая!

- Тем более – незачем. Потому как – узнай она о нем – и что? Станет подружкам направо и налево трезвонить: «Девочки, а что со мной было!» Тьфу. Трещать будет, как вот вы сейчас. Не каждому чудо в жизни нужно. Вот живем мы с вами – и не знаем, может, и с нами чудеса случались. Да и случались, только лучше о них не знать. Не полезно. Жить надо по-божески, и все... А как объясню... Да никак не объясню... Устроил Господь, чтобы к лучшему, а как и зачем – Ему одному только ведомо. И незачем нам допытываться: всё равно не поймем, умом не вышли... – наступила короткая пауза.

- Ну, бабоньки, засиделась я у вас, а на мне ведь еще две мужские палаты... Пошла я... Лечитесь, сердешные... – и баба Надя, подхватив свое ведро и швабру, переваливаясь, в гробовой тишине направилась к двери.

- Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам... – пробормотала Анна Игоревна. – Просто, как все гениальное. Нет, меня наш народ поражает, честное слово! Будь я поздравей – я б записала! Знаете, как это называется?

- Как? – спросили все.

- Быличка. Жанр фольклора такой. Рассказ со слов якобы очевидца о встрече с потусторонней силой. Ученым уже сто лет известен. Особенно в Первую мировую

расцвел. Одна очень популярна была. Приходит будто бы с войны солдат на побывку и женится на своей невесте. Ну, понятно, свадьба и все такое... А один гость под стол уронил что-то, нагнулся, глядь – а у жениха ноги козлиные. А тут и письмо несут, что жених погиб на прошлой неделе... И рассказ начинали всегда так: «У моей кумы с дочерью вот что было...» или: «У сестры подруга в соседней деревне, так у них...». Ну вот, и нам сегодня быличку рассказали, красивую: «Мой сын и внук рассказывали...».

- А вы совсем не верите, Анна Игоревна? Совсем-совсем? Вот ни на столечко? – решила спросить Тоня.

- Ну, почему, – рассудительно, как на уроке, ответила учительница. – Все это на каких-нибудь реальных фактах основано. Я же говорила: история Марфы с летчиком, которые к партизанам, конечно, уйти успели, потом туман, испуг, недоразумение какое-то... Дальше – самовнушение, воображение... А уж фантазия остальное дорисовала! Будьте уверены: баба Надя и не думает, что сочиняет. Она сама уже так вжилась в свою историю, что в ней и не сомневается! Ну, а внуку со слов отца почудилось что-то один раз, а вчера он себе добавил: была же у актрисы какая-то неразбериха с милиционером – вот он и накрутил. А домик там есть, конечно. Просто где-то под деревьями стоит, и актриса его увидела, потому что знала, что он там. Да и вообще, мало ли что могло быть! А быличка хороша... Право, хороша... Я в институте увлекалась, всё в фольклорные экспедиции ездила... Давно это было... Ну, да что уж... Вот врачи сказали, что опасно... Встану – и запишу, обязательно запишу, честное слово!

Тоня свернулась калачиком под тощим одеялом, носом к стенке. Так хорошо все было: красивая Марфа, храбрый летчик, исчезнувший дом, кем-то взятый туда, где живут, не старея, страшный туман, смелая актриса спускается на ветру по вертолетному трапу... Дом появляется в разных местах, всегда именно там, где нужен, а Марфа и летчик до сих пор ходят по земле и помогают несчастным людям... И вот, пожалуйста, никакой романтики. Нудная эта училка так прозаично все объяснила... И самое обидное, что так, скорей всего, и есть...

Скучно стало Тоне. Всегда так: поверишь чему-нибудь хорошему, красивому, глядишь – а оно и исчезло. Повздыхала Тоня и не заметила, как стала засыпать. Кружился перед ней лес, появлялся и таял черный кособокий домик, женщина в ватнике и платке быстро шла от нее по тропинке, но иногда останавливалась и, оглядываясь, словно звала ее, Тоню, за собой. И Тоня во сне бежала вослед, падая и легко подымаясь, и хотела спросить о чем-то исключительно важном, но так и не смогла вспомнить, о чем.

1999 г.

*Мартышкино*